ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ



АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ
РОССИЯ





А. ПОЛЕЖАЕВ



Стихотворения

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1981

Составление и вступительная статья **В. Л. Скуратовского;**
примечания **В. В. Баранова**

Гравюра **А. И. Ременника**

Полежаев А. И.

П49 Стихотворения/Сост., вступ. статья В. Л. Скуратовского; Примеч. В. В. Баранова.— М.: Сов. Россия, 1981.— 176 с., 1 л. портр.—(Поэтическая Россия).

В книгу стихотворений замечательного русского поэта Александра Ивановича Полежаева (1804, по другим данным 1805—1838) вошли избранные лирические, гражданские, философские, сатирические стихи, а также отрывки из поэмы «Эрпели».

П $\frac{70401-202}{М-105(03)81}$ 133—80 4702010100 Р1

СУДЬБА АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАЕВА

Не розы светлого Пафоса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине,—
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

Александр Полежаев

I

Архив, если вспомнить специальный термин, это как бы долговременная память истории и культуры, местообитание некогда живых человеческих страстей, отбушевавших свое, отвердевших в документе. Вместе с тем людей прошлого он «запоминает» избирательно и по-разному, по-разному завязывая узелки памяти в виде бесчисленных «фондов» и «описей» вокруг тех или иных имен. Подчас сам способ, сама техника архивного «запоминания» более сообщительны, чем сам документ...

В отечественных архивах сохранилось множество документов, так или иначе относящихся к русскому поэту Александру Ивановичу Полежаеву. Так, в Госархиве Мордовской АССР литературовед И. Д. Воронин выявил немалое число «единиц хранения», красноречиво повествующих о буйном и жестоком стародворянском клане Струйских, к которому принадлежал и поэт — незаконный сын беззаконного Леонтия Струйского, ужаснувшего своим «жестоким бойством» даже видавшую виды Пензенскую палату уголовного суда. Леонтий Николаевич Струйский, недальний родственник смолянки Струйской, воспетой художником Рокотовым и поэтом Заболоцким, розгами и поленом насмерть забил своего дворового человека, за что — случай по тем временам редчайший — был лишен всех чинов и дворянства и сослан в Сибирь. Медлительную и отнюдь не обремененную человеколюбием пензенскую юстицию подтолкнуло лишь либеральное негодование тамошнего гражданского губернатора, опаль-

ного М. М. Сперанского, чей реформаторский пыл еще не совсем остыл в арктической ночи тогдашней российской провинции... Документы, связанные с Полежаевым, хранятся и во многих военно-исторических собраниях. Но вот что знаменательно: все это — именно документы, то есть официальные бумаги, нескончаемые «исходящие» и «входящие», плотным и страшным кольцом охватывающие всю жизнь поэта,— со дня его «незаконного» рождения (намеренная путаница в метрической книге с. Рузаевки, неуклюже скрывающая «барский грех», бесчисленные «ябеды» между «родителем» Леонтием Струйским и «отцом» Иваном Полежаевым, саранским мещанином, который, покрывая этот «грех», за известную мзду усыновил Александра, а затем, по-видимому, постоянно и безуспешно пытался увеличить эту мзду) до его последнего часа, когда была получена «высочайшая конфирмация пожалования наград нижним чинам, разжалованным в сие звание за проступки», производившая в офицеры поэта, уже агонизирующего в солдатском лазарете.

Старший современник Полежаева, благополучно его переживший, князь-драматург А. А. Шаховской жаловался, что в отличие от древних, бытие которых было сплошь публичным, протекавшим вечно на людях, современник совершенно погружен в частную жизнь, наглухо отторженную от жизни общей. Но уж во всяком случае полежаевское бытие было трагически-неизбывно публичным, лишенным даже намека на частную жизнь, открытое всем ветрам и дуновениям самовластия. На Полежаеве, еще младенце, навсегда остановился и застыл мертвящий зрачок самодержавно-бюрократической Горгоны. Каждый «нефрунтовый» шаг поэта, заживо замурованного за толстенными стенами николаевских казарм, немедленно протоколировался во всевозможных «рапортах» и «формулярах», переводился на их чудовищный косноязычный жаргон, многократно отзывался во всех полицейских инстанциях империи — от Третьего отделения до разных его доброхотов, изводивших поэта своими наветами. Цветаева как-то сказала о материалах процесса над Жанной д'Арк, что протокол здесь равен преданию. Любой архивный документ о Полежаеве по своей патетике, прорывающейся сквозь чиновничью заумь, равен трагедии...

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни т р и д ц а т ь л е т,—

писал Полежаев, обращаясь к шестнадцатилетней Екатерине Бибиковой, доброй и умной девушке, из «младых граций Москвы», вызвавшей у него глубокое и, увы, безответное чувство. Эти строчки были

написаны летом 1834 года. То была единственная счастливая пауза в страшной жизни поэта. Отставной полковник Бибиков привез его, истерзанного солдатчиной, душевным одиночеством и алкоголем, в свое зарайское имение. Семья Бибиковых окружила страдальца вниманием и заботой. Полковник написал графу А. Х. Бенкендорфу, бывшему тогда чем-то вроде вице-императора, письмо, в котором «как христианин, как отец семейства и, наконец, как литератор» умолял того «возвратить несчастного обществу и литературе». Но судьба и здесь продолжала убивать поэта... Дотошные исследователи спустя столетие установили, что и это письмо, оставленное, впрочем, без последствий, и анонимный донос на Полежаева, поступивший в Третье отделение в июле 1826 года и сыгравший столь роковую роль в его жизни, писаны одной и той же рукой — рукой человеколюбивого Ивана Петровича Бибикова, жандармского полковника. Этот жестокий психологический парадокс, по счастью, так и остался неизвестным поэту, но он дает достаточное представление о том, как именно судьба убивала Александра Полежаева, начиная с младенчества. Даже единственный полуофициальный документ, казалось бы, согретый явным сочувствием поэту, и тот отбрасывает зловещую полицейскую тень!

II

Жизнь поэта, а в особенности поэта русского, вообще была нелегка. Полежаев, пожалуй, лишь наиболее резкий случай в истории русской поэзии, уничижение, а то и попросту уничтожение которой на протяжении всего «петербургского периода» было постоянным и твердым правилом «хозяев жизни»: Тредиаковского они просто били, Сумарокова вышучивали и дразнили, Пушкина интригами привели на Черную речку, Лермонтова — к подножию Машука, Ивана Сергеевича Тургенева, словно пьяного буяна, посадили на «съезжую» за восторженную статью о Гоголе... Словом, необыкновенные трудности условий тогдашнего поэтического существования — дело обыкновенное. Но они не только в неких внешних обстоятельствах,— скажем, в ярости и коварстве вельмож или в жестокости и скудоумии их присных — они и в самой стихии поэтического творчества, в самом веществе поэзии, подчас чрезвычайно вязком и неподатливом.

Писать стихи трудно — об этом свидетельствует монблан черновиков, накопленных мировой поэзией. И при их внимательном и «системном» рассматривании оказывается, что едва ли не самая главная трудность — это всегдашняя угроза чрезмерного подчинения поэта мощной и не всегда благой силе уже отложившихся (пожалуй,

даже «слежавшихся») поэтических образцов, обаянию неких, давно успокоившихся поэтических стихий. Инерция предшествующего движения литературы, разумеется, весьма естественным образом должна сказываться на последующем поэтическом явлении, но подчас она превращается и в немалое бремя для него, ограничивающее, а то и попросту останавливающее новое художественное начинание. В истории мировой литературы последних столетий случалось, и довольно часто, когда художническая инициатива явно пасовала перед такой инерцией и поэтическое творчество из собственно творчества преломлялось в послушное, полумеханическое воспроизведение литературных образцов, наработанных предшествующей эпохой. Сразу же заметим, что мы говорим именно о литературе нового времени, а не о средневековой словесности, для которой следование некоему, в столетиях затвердевшему канону было делом и естественным и почетным.

Сказанное выше помогает понять некоторые существеннейшие стороны поэзии Александра Ивановича Полежаева. На первый взгляд ключевые, бесконечно трагические события его биографии не всегда получали подлинно убедительное художественное воплощение в его поэзии, не всегда сохраняли в ней свое немыслимое, нечеловеческое напряжение. Возможно, поэтому и принято было некогда говорить о нем как о явлении едва ли не второстепенном. Так, Фет однажды зло назвал его «мало талантливым мальчиком», а Блок и того резче — «плохим поэтом». Полагаем, что это — одно из нередких в истории литературы отклонений читательского зрения, не вовсе чуждых даже большим художникам. На самом деле итоговую, общую оценку Полежаеву следует давать не по пятибалльной, а по другой, менее элементарной системе...

Да, у Полежаева далеко не все равноценно и равносильно, но это свидетельствует вовсе не о малой одаренности, а о сложнейшей, многотрудной ситуации, в которой пребывала Муза поэта. И дело не только в том, что она была замучена ружейными приемами и многодневными переходами. Полежаев как поэт начинает в русской поэтической системе 1810—1820-х годов, которую подчас неточно называют «пушкинской»,— системе, превосходно отработанной, на редкость цельной и слаженной, но именно в силу этой слаженности постоянно заставляющей поэтов прибегать к неким общим местам, более или менее выразительным словесным формулам и блокам. Удивительную по емкости и точности пародийную модель такой поэзии представил Пушкин в предсмертных стихах Ленского.

При всем своем бесспорном обаянии эта поэзия была основана на достаточно ограниченном историческом и жизненном опыте (что опять же с беспощадной зоркостью подметил Пушкин в своем ге-

рое). У Полежаева уже был другой опыт, гораздо более страшный, гораздо более приблизившийся к реальности, но поэт по некоей инерции подчас прибегал к его чрезмерно традиционной, усредненно-элегической аранжировке. Страшное и жуткое полежаевской биографии (так, поэт в кандалах и наручниках провел год в подземной тюрьме вблизи Сухаревой башни) нередко запрятано у него за эстетически состарившимся слогом. Уже в злейшей чахотке, на самом дне человеческого отчаяния, Полежаев подчас писал совершенно слогом Ленского:

И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел...
(*«Осужденный»*)

Даже сюда, в эту исповедь умирающего в Лефортовском «гошпитале» поэта, вкралась осмеянная Пушкиным «туманная даль», эта обязательная составная элегического «климата»...

Не исключено, что А. А. Блока раздражала именно эта сторона полежаевской поэзии — известная робость в попытках заговорить о страдании своим, ни на кого не похожим голосом.

И тем не менее не будем спешить с чрезмерно суровой оценкой упомянутой «поэтической системы». Думается, что такая оценка несправедлива.

Вот стихи, обычно в современных изданиях печатающиеся рядом,— «Звезда», «Букет», «Наденьке», маленькая триада поэзии тождества. Любая их строчка стекала с пера решительно всех поэтов, старших и младших современников Полежаева. Проще всего отмахнуться от них и раскрыть книгу на шедеврах, которых у этого поэта действительно не так уж много. Гораздо сложнее и важнее услыхать негромкую, но бесконечно нежную музыку именно этих стихов. Полежаев от чистого сердца подхватывает, казалось бы, запетое:

Она взошла, моя звезда,
Моя Венера золотая;
Она блестит, как молодая
В уборе брачном красота!
Пустынник мира безотрадный,
С ее таинственных лучей
Я не свожу моих очей
В тоске мучительной и хладной.
Моей бездейственной души
Не оживляя вдохновеньем,

Она небесным утешеньем
Ее дарит в ночной тиши.
Какой-то силою волшебной
Она влечет меня к себе...
(«Звезда»)

В этих строчках нет ни одной, так или иначе не прозвучавшей и до Полежаева, и после Полежаева (их эхо отчетливо слышно и в знаменитейшем булаховском романсе, также обращенном к звезде,— «твоих лучей неясной силою...»). Но это-то и сообщает им некую «неясную» и в то же время ощутимую лирическую силу, ведущую читателя к «означаемому» ими чувству, согласному с миром, с его наиболее высокими проявлениями. Тогдашняя поэзия может раскрыться нашему современнику лишь по выявлении запрятанного в ней бесконечно искреннего чувства, выраженного удивительно похожим поэтическим языком.

Или:

Быстро волны ручейка
Мчат оторванный цветок;
Видит резвый мотылек
Листик алого цветка,
Вьется в воздухе, летит,
Ближе... вот к нему прильнул...
Ветер волны колыхнул —
И цветок на дне лежит...
Где же, где же, мотылек,
Роза нежная твоя?
Ах, не может для тебя
Возвратить ее поток!..
(«Наденьке»)

Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое теченье ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное». Это — из «Дубровского», из эпизода, рисующего состояние героя, вследствие которого «страшные мысли рождались в уме его», мысли, уже предвосхищающие петербургские ужасы Достоевского. «Ручеек», «оторванный цветок» и «резвый мотылек» при всей своей малости не вовсе незначительны — они воспроизводят метафору, коей возраст, наверное, совпадает с возрастом человеческой культуры, а ее убедительность по своей наглядности, пожалуй, превосходит самые изысканные философские построения. Река жизни может бес-

следно унести последнее, а вот против тысячелетней метафоры она бессильна.

Итак, наш современник, читая антологические, альманашные, альбомные и т. п. стихи Полежаева, его элегии, в которых как бы резонирует вся массовая поэзия того времени, должен проявить не только подвиг великодушия, но и понимание. В упомянутых и других такого же толка стихах Полежаев озвучивает некое простое, цельное, искреннее чувство,— вместе со всем хором русских поэтов.

III

Но ведь был и другой Полежаев. Впрочем, доказывать бытие этого Полежаева нет особенной необходимости, так как массовому читателю знаком, по преимуществу, именно он.

Полежаев хотя и не всегда, но находил художественные средства, точно интонирующие его бесконечно трагический опыт солдата, узника, жертвы, поэтические формы, убедительнейше закрепляющие этот опыт. В сущности, едва ли не все им сочиненное колеблется между старым, даже застарелым, и новым, дотоле в русской литературе невиданным. Новое, трагическое знание о мире здесь исподволь просачивается в художническое сознание, приверженное тем или иным нормативам и формулам. Невозможно в одной статье представить хотя бы некоторые сугубо специальные (скажем, языковые, стилевые и проч.) стороны этого процесса, протекавшего к тому же не в кабинете или гостиной, а в тюрьме, казарме и кабаке... Зато и без специальных комментариев очевидны его мощные последствия, когда художественная мысль, не отягощенная манерой, уже чуждой поэту, внезапно, путем едва заметных лексических, синтаксических или метрических сдвигов, сливается с наиглавнейшим чувством, завладевшим им после катастрофы с «Сашкой»[1], вызвавшим высочайший гнев и затем — солдатчину,— чувством человека, обкраденного страшной судьбой, человека бесконечно униженного и

[1] Поэма «Сашка» написана в 1825 г., в последний период обучения Полежаева в Московском университете, и широко распространялась в списках среди учащейся молодежи. По доносу жандармского полковника И. П. Бибикова, осуществлявшего секретный надзор за московскими литераторами и студентами, поэт был доставлен к Николаю I. С полным основанием усмотрев в поэме «следы, последние остатки» декабристских веяний, царь лично распорядился определить Полежаева унтер-офицером в Бутырский пехотный полк под «самый строгий надзор», что явилось началом полежаевской «солдатчины», в дальнейшем все более отягчавшей жизнь поэта новыми гонениями и карами.

все-таки непобежденного. И вот тогда-то Полежаев, автор «Песни пленного ирокезца», «Негодования», «Цыганки», «Грешницы» и других столь же прекрасных стихов, и обретает свой неповторимый голос в большой поэзии, свое незаместимое место в ней. В этих стихах блистательно совершается и завершается трудная работа поэта по созданию неклишированных, уже бесспорно и неотчуждаемо **своих** образов, **своего** внутреннего мира, его разных состояний — от смятения и ужаса до того, что покойный французский писатель Андре Мальро называл героическим пессимизмом.

Полежаев строит именно такие образы, отмеченные **своим** видением мира — даже на таком материале, который по самой своей фактуре, по своей суровой принудительности не располагал к подобной свободе.

Первые шаги навстречу психологической и житейской правде поэт сделал в пародийном «Сашке», стяжавшем автору немалую известность и вызвавшем также большую беду. Скажем прямо: пристальное и недоброе внимание к этой поэме со стороны Николая I заставило некоторых историков литературы чрезмерно завысить оценку этой еще во многих отношениях незрелой вещи. Но при всей ее незрелости она отмечена одним неоспоримым достоинством: «Сашка» простодушно и точно повествует о раскованном, внутренне свободном поколении русской молодежи начала 1820-х годов, еще не запуганной свирепым полицейским террором, еще не дошедшей до гражданского состояния Н. В. Кукольника, как-то заявившего, что, вели государь ему стать акушером, он немедленно подчинится высочайшей воле. Разумеется, это еще та мировоззренчески непроясненная и неоформленная свобода, которая покамест не знает, что делать с собой, и поэтому щедро тратится на кабацкие потасовки и своего рода «сексуальную революцию» в ее ранней редакции, но в ней уже явлен, по выражению Радищева, не раб, но человек. Один герой Томаса Манна говорил, что немецкая революция прошлого века — студенческий разгул мировой истории. Высочайший рецензент «Сашки» также своевременно понял, что студенческий разгул вполне может предварить политическую оппозицию. Но «Сашка» не только погубил своего создателя, но и достаточно уверенно повел его в сторону реализма.

И в пародийном «Сашке», и в превосходной кавказской поэме «Эрпели» (которая явно предвосхищает суровый реализм лермонтовского «Валерика»), и в ряде других произведений Полежаев делает смелый шаг навстречу предметной, вещной точности, которая сослужила немалую службу русской поэзии, размывая ее условное, дореалистическое письмо 1810—1820-х годов, ее синтаксические и

лексические формулы-штампы. В сущности, это были скромные, но уже бесспорные успехи новой, реалистической поэтики, нового взгляда на мир, подготовившего грядущие триумфы русского реализма. Так, общеизвестно влияние Полежаева на Лермонтова. Необходимо лишь добавить к сумме многочисленных полежаевских аллюзий у Лермонтова то, что Печорин «Фаталиста», напряженно размышляющий о соотношении в человеческом поведении свободы и несвободы («предопределение»), почти дословно воспроизводит, то есть переводит прозой весьма сходные полежаевские мысли из шестой главки трагического «Арестанта». Те или иные нотки Полежаева слышны, впрочем, на всем пространстве русской литературы прошлого века — от «Медного всадника» до кавказской прозы Толстого.

Стендаль писал, что подлинное искусство живет страстями,— поэзия Полежаева полыхает ими. Это — то, что должно остаться с читателем навсегда, то, от чего у него всегда будет перехватывать дыхание.

Вот поразительная «Песнь погибающего пловца», возникшая как бы на руинах других, малоудавшихся «песен» поэта, стилизованных то под традиционный романс, то под «русскую песню», как ее понимали в то время. «Песнь погибающего пловца» по своей трагической мощи — один из наиболее запоминающихся голосов в русской лирике:

I

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

II

Все чернее
Свод надзвездный,
Все страшнее
Воют бездны.
Глубь без дна —
Смерть верна!
Как заклятый
Враг грозит,
Вот девятый
Вал бежит!..

В этом удивительном стихотворении, как и в пушкинских «Бесах», слышен непрекращающийся, поистине космический гул разбушевавшихся стихий, грозящих человеческой малости, вселенский треск и грохот, перекрывающий «песнь погибающего пловца». Здесь предстает устрашающий образ обезумевшего мира, мимоходом погребающего хрупкую ладью с «бесприютным странником», мира, расплескивающего остатки обесцененной, неудавшейся жизни. Здесь Поле-

жаев нашел наиточнейшее художественное соответствие тому «морю бед», в котором он плавал «с юных лет» — традиционнейшие, тысячелетние образы разгулявшейся стихии и гибнущего в ней челнока поэт поверяет напряженнейшим личностным чувством, с помощью изощренной звукописи, как бы «сонатной формы» столь же изощренной композиции, трагической (другого слова не найти), рвущей мысль и чувство цезуры, сопрягает их со своим «опытом», накопленным на самых дальних кругах николаевско-имперского ада. Поразительно также то, как в этом стихотворении древняя аллегория моря и ладьи внезапно «опредмечивается», облекается ревущей плотью реального моря, а через точное маринистическое письмо поэта просвечивает его безысходная «сухопутная» ситуация.

Леонид Андреев сравнил значение литературы для истории с подвигом радиста «Титаника», который до последней секунды передавал сигналы «SOS». Наиболее сильная часть полежаевской поэзии также совмещает в себе катастрофу и нескончаемые сигналы о ней. Тем самым Полежаев спасал не столько себя, сколько идею человека, косвенным образом утверждая необходимость нового, справедливого и доброго мира, слабый образ которого предстает в его чудных и хрупких стихах-игрушках.

Лет за десять до гибели поэт писал о своей будущей могиле:

И нет ни камня, ни к<реста>.
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

(«Александру Петровичу Лозовскому»)
<«Арестант»>

Он оказался прав. Гроб с его телом, обглоданным в госпитальном морге крысами, опустили среди безымянных нищих могил Семеновского кладбища. Там — без камня и креста — он и затерялся... Но остались стихи Полежаева, мощно вырывающиеся из эстетической усредненности, стихи, упрямо воюющие за бессмертие и завоевывающие его...

Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай,
Не померкая!

(«Провидение»)

Вадим Скуратовский

НЕПОСТОЯНСТВО

Он удалился, лицемерный,
Священным клятвам изменил,
И эхо вторит: легковерный!
 Он Нину разлюбил!
  Он удалился!
Могу ли я, в моей ли власти
Злодея милого забыть?
Крушись, терзайся, жертва страсти!
 Удел твой — слезы лить:
  Он удалился!
В какой пустыне отдаленной,
В какой неведомой стране
Сокрою стыд любви презренной!
 Везде все скажет мне:
  Он удалился!
Одна, чужда людей и мира,
При томной песне соловья,
При легком веяньи зефира
 Невольно вспомню я:
  Он удалился!
Он удалился — все свершилось!
Минувших дней не возвратить.
Как призрак, счастие сокрылось...
 Зачем мне больше жить?
  Он удалился!

<1825>

ЛЮБОВЬ

Свершилось Лилете
Четырнадцать лет;
Милее на свете
Красавицы нет.
Улыбкою радость
И счастье дарит;
Но счастия сладость
Лилеты бежит.
Не лестны унылой
Толпы женихов,
Не радостны милой
Веселья пиров.
В кругу ли бывает
Подруг молодых —
И томность сияет
В очах голубых;
Одна ли в приятном
Забвеньи она —
Везде непонятным
Желаньем полна;
В природе прекрасной
Чего-то ей нет,
Какой-то неясный
Ей мнится предмет:
Невольная скука
Девицу крушит,
И тайная мука
Волнует, томит.

Ах, юные лета!
Ах, пылкая кровь!
Лилета, Лилета!
Ведь это — любовь.

<1832>

НОВАЯ БЕДА

Беда вам, попадьи, поповичи, поповны!
Попались вы под суд и причет весь церковный!
За что ж? За чепчики, за блонды, кружева,
За то, что и у вас завита голова,
За то, что ходите вы в шубах и салопах,
Не в длинных саванах, а в нынешних капотах,
За то, что носите с мирскими наряду
Одежды светлые себе лишь на беду,
А ваши дочери от барынь не отстали:
В корсетах стиснуты, турецки носят шали,
Вы стали их учить искусству танцевать,
Знакомить с музыкой, французский вздор болтать.
К чему отличное давать им воспитанье?
Внушили б им любить свое духовно званье,
К чему их вывозить на балы, на пиры?
Учили б их варить кутью, печь просвиры.
Коль правду вам сказать, вы, матери, неправы,
Что глупой модою лишь портите их нравы.
Что пользы? Вот они, пускаясь в шумный мир,
Глядят уж более на фрак или мундир
Не оттого ль, что их по моде воспитали,
А грамоте учить славянской перестали?
Бывало, знали ль вы, что значит мода, вкус?
А нынче шьет на вас иль немец, иль француз.
Бывало в простоте, в безмолвии вы жили,
А нынче стали знать мазурку и кадрили.
Ну, право, тяжкий грех, оставьте этот вздор;
Смотрите, вот на вас составлен уж собор.

Вот скоро Фотий сам с вас мерку нову снимет,
Нарядит в кофты всех, а лишнее все скинет.
Вот скоро, дайте лишь собрать владыкам ум,
Они вам выкроят уродливый костюм!
Задача им дана, зарылись все в архивы.
В пыли отцы, в поту! Вот как трудолюбивы:
Один забрался в даль под Авраамов век
Совета требовать у матушек Ревекк,
Другой перечитал обряды назореев,
Исчерпал Флавия о древностях евреев,
Иной всей Греции костюмы перебрал,
Другой славянские уборы отыскал.
Собрали образцы, открыли заседанье
И мнят, какое ж дать поповнам одеянье,
Какое — попадьям, какое — детям их?
Решите же, отцы! Но спор возник у них:
Столь важное для всех, столь чрезвычайно дело
Возможно ль с точностью определить так смело?
Без споров обойтись отцам нельзя никак,
Иначе попадут в грех тяжкий и просак.
О чем же этот спор? Предмет его преважный:
Ходить ли попадьям в материи бумажной,
Иметь ли шелковы на головах платки,
Носить ли на ногах козловы башмаки?
Чтоб роскошь прекратить, столь чуждую их лицам,
Нельзя ли обратить их к древним власяницам;
А чтоб не тратиться по лавкам, по швеям,
Не дать ли им покров пустынный, сродный нам?
Нет нужды, что они в нем будут как шутихи,
Зато узнает всяк, что это не купчихи,
Не модны барыни, а меж церковных жен.
Беда вам, матушки, дождались перемен!
Но успокойтесь, страх велик лишь издали бывает:
Вас Шаликов своей улыбкой ободряет:

Молчите, говорит, я сам войду в синод,
Представлю свой журнал, и, верно, в новый год
Повеет новая приятная погода
Для вашей участи и моего дохода.
Как ни кроить убор на вас святым отцам,
Не быть портными им, коль мысли я не дам.

1825

НОЧЬ

Умолкло все вокруг меня:
Природа в сладостном покое;
Едва блестит светило дня;
В туманах небо голубое.
Печальной думой удручен,
Я не вкушу отрады ночи
И не сомкнет приятный сон
Слезой увлаженные очи.
Как жаждет капли дождевой
Цветок, увянувший от зноя,
Так жажду, мучимый тоской,
Сего желанного покоя.
Мальвина, радость прежних дней!
Мальвина, друг мой несравненный!
Он жив еще в душе моей,
Твой образ милый, незабвенный.
Так всюду зрю его черты:
В луне задумчивой и томной,
В порыве пламенной мечты,
В виденьях ночи благотворной.
Твоя невидимая тень
Летает тайно надо мною;
Я зрю ее — но зрю, как день
За этой мрачной пеленою...
Я с ней — и от нее далек.
И легкий ветер из долины
Или журчащий ручеек —
Мне голос сладостный Мальвины!

Я с ней — и блеска сих очей,
На мне покоившихся страстно,
В сияньи радужных лучей
Ищу в замену я напрасно;
Я с ней — и милые уста
Целую в розе ароматной;
Я с ней и нет — и все мечта,
И пылких чувств обман приятный!
Как светозарная звезда
Мальвина в мире появилась,
Пленила мир — и навсегда
Звездой падучею сокрылась.
Мальвины нет! исчезли с ней
Любви, надежд очарованье,
И скорбной участи моей
Одна отрада — вспоминанье!

<1826>

ПОГРЕБЕНИЕ

Я видел смерти лютой пир —
Обряд унылый погребенья:
Младая дева вечный мир
Вкусила в мгле уничтоженья.
Не длинный ряд экипажéй,
Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах, нет! Простой дощатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.
Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали.
И вот уже духовный врач
Отпел последнюю молитву,
И вот сильнее вопль и плач...
И смерть окончила ловитву!
Звучит протяжно звонкий гвоздь,
Сомкнулась смертная гробница —
И предалась, как новый гость,
Земле бесчувственной девица...
Я видел все; в немой тиши
Стоял у пагубного места
И в глубине моей души
Сказал: «Прости, прости, невеста!»

Невольно мною овладел
Какой-то трепет чудной силой,
И я с таинственной могилой
Расстаться долго не хотел.
Мне приходили в это время
На мысль невинные мечты,
И грусти сладостное бремя
Принес я в память красоты.
Я знал ее — она, играя,
Цветок недавно мне дала,
И вдруг, бледнея, увядая,
Как цвет дареный, отцвела.

1826(?)

ЧЕТЫРЕ НАЦИИ

I

Британский лорд
Свободой горд —
Он гражданин,
Он верный сын
Родной земли.
Ни к<ороли>,
Ни происк п<ап>
Звериных лап
На смельчака
Исподтишка
Не занесут.
Как новый Брут,
Он носит меч,
Чтоб когти сечь.

II

Француз — дитя,
Он вам, шутя,
Разрушит трон
И даст закон;
Он царь и раб,
Могущ и слаб,
Самолюбив,
Нетерпелив.
Он быстр, как взор,
И пуст, как вздор.

И удивит
И насмешит.

III

Германец смел,
Но перепрел
В котле ума;
Он, как чума
Соседних стран,
Мертвецки пьян,
Сам в колпаке,
Нос в табаке,
Сидеть готов
Хоть пять веков
Над кучей книг,
Кусать язык
И проклинать
Отца и мать
Над парой строк
Халдейских числ,
Которых смысл
Понять не мог.

IV

В <России> чтут
Царя и к<нут>;
В ней <царь> с к<нутом>,
Как п<оп> с к<рестом>:
Он им живет,
И ест и пьет
А р<усаки>,
Как дураки,

Разиня рот,
Во весь народ
Кричат: «Ура!
Нас бить пора!
Мы любим кнут!»
Зато и бьют
Их как ослов,
Без дальних слов,
И ночь и день,
Да и не лень:
Чем больше бьют,
Тем больше жнут,
Что вилы в бок,
То сена клок!
А без побой
Вся русь хоть вой —
И упадет
И пропадет!

1827

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я встречаю зарю
И печально смотрю,
Как кропинки дождя,
По эфиру слетя,
Благотворно живят
Попираемый прах,
И кипят и блестят
В серебристых звездах
На увядших листах
Пожелтевших лугов.
Сила горней росы,
Как божественный зов,
Их младые красы
И крепит и растит.
Что ж, кропинки дождя,
Ваш бальзам не живит
Моего бытия?
Что в вечерней тиши,
Как приятный обман,
Не исцелит он ран
Охладелой души?
Ах, не цвет полевой
Жжет полдневной порой
Разрушительный зной:
Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...

Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
И я жил — но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла;
Мир души погребла
К шумной воле любовь...
Не воскреснет она!
Я надежду имел
На испытных друзей,
Но их рой отлетел
При невзгоде моей.
Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой...
Мне противно смотреть
На блаженство других
И в мучениях злых
Не сгораючи, тлеть...

Не кропите ж меня
Вы, росинки дождя:
Я не цвет полевой;
Не губительный зной
Пролетел надо мной!
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!

Между 1826—1828

ЦЕПИ

Зачем игрой воображенья
Картины счастья рисовать,
Зачем душевные мученья
Тоской опасной растравлять?
Убитый роком своенравным,
Я вяну жертвою страстей
И угнетен ярмом бесславным
В цветущей юности моей!
Я зрел: надежды луч прощальный
Темнел и гаснул в небесах,
И факел смерти погребальный
С тех пор горит в моих очах!
Любовь к прекрасному, природа,
Младые девы и друзья
И ты, священная свобода,
Все, все погибло для меня!
Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огнь души унылой
Воспламеняется во мне,
С снедающей меня могилой
Борюсь, как будто бы во сне;
Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить!

Уже рукой ожесточенной
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущенный
Забыл и горе и печаль!..
Готов!.. Но цепь порабощенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных, трепетных руках!
Как раб испуганный, бездушный,
Тогда кляну свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи <нового цар>я.

Между 1826—1828

РОК

Зари последний луч угас
В природе усыпленной;
Протяжно бьет полночный час
На башне отдаленной.
Уснули радость и печаль
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.
Все спит... Один свирепый рок
Чужд мира и покоя,
И столько ж страшен и жесток
В тиши, как в вихре боя.
Ни свежей юности красы,
Ни блеск души прекрасной
Не избегут его косы,
Нежданной и ужасной!
Он любит жизни бурной шум,
Как любят рев потока,
Или как любит детский ум
Игру калейдоскопа.
Пред ним равны — рабы, цари;
Он шутит над султаном,
Равно как шучивал Али
Янинский над Фирманом.
Он восхотел — и Крез избег
Костра при грозном Кире,
И Кир, уснув на лоне нег,
Восстал в подземном мире.

Велел — и Рима властелин —
Народный гладиатор,
И Русь, как кур, передушил
Ефрейтор-император.

Между 1826—1828

ВАЛТАСАР

(Подражание V главе пророка Даниила)

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блестит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит —
И торжественный трон
И блестит и горит...
Вдруг неведомый страх
У царя на челе,
И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом,

На стене пред царем,
Начертала слова...
И никто из мужей
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской...
И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
Мáни, фéкел, фарéс!
Вот слова на стене;
Волю бога небес
Возвещают оне.
Мáни значит: монарх,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках —
Смысл середней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..
Рек — исчез... Изумлен,
Царь не верит мечте;
Но чертог окружен,
И — он мертв на щите!..

Между 1826—1828

ПЕСНЬ ПЛЕННОГО ИРОКЕЗЦА

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Равнодушно они
Для забавы детей
Отдирать от костей
Будут жилы мои!
Обругают, убьют
И мой труп разорвут!
Но стерплю! Не скажу ничего,
Не наморщу чела моего!
И, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Неподвижен и смел,
Встречу миг роковой
И, как воин и муж,
Перейду в страну душ.
Перед сонмом теней воспою
Я бесстрашную гибель мою.
И рассказ мой пленит
Их внимательный слух,
И воинственный дух
Стариков оживит;
И пройдет по устам
Слава громким делам.
И рекут они в голос один:
«Ты достойный прапрадедов сын!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдем

И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!
Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой!

Между 1826—1828

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с темною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой,
При свете сумрачной луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый.
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой.
Унылый, грустный, он блуждает
Вокруг жилища своего
И — очарован — за него
Переноситься не дерзает.
Следы минувших, лучших дней
Он видит в мысли быстротечной,
Но мукой тяжкою и вечной
Наказан в ярости своей,
Проклятый небом раздраженным,
Он не приемлется землей,
И овладел мучитель злой
Злодея прахом оскверненным.
Вот мой удел! Игра страстей,
Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!

Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня,
И, член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы!
Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

Между 1826—1828

* * *

Притеснил мою свободу
Кривоногий штабс-солдат:
В угождение уроду
Я отправлен в каземат.
И мечтает блинник сальный
В черном сердце подлеца
Скрыть под лапою нахальной
Имя вольного певца.
Но едва ль придется шуту
Отыграться без стыда:
Я — под спудом на минуту,
Он — в болоте навсегда.

1828

АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛОЗОВСКОМУ

Plus tôt que je n'ai dû je reviens dans la lice;
Mais tu le veux, amis!
Ton bras m'a reveillé; c'est toi qui m'a dit: va!
H<ugo>[1]

Ты мне чужой, не с давних лет
Знаком душе твоей поэт!
Не симпатия двух сердец
Святого дружества венец
В счастливой жизни нам вила
И друг для друга родила.
Быть может, раз сойтись с тобой
Мне предназначено судьбой —
И мы сошлись... Ты — в красоте
Цветущих дней, я — в наготе
Позорных уз... Добро иль зло
Тебя к страдальцу привело,
Боюсь понять... под игом бед
Мне подозрителен весь свет;
Погибшей истины черты
В глазах моих — одни мечты...
Уму свирепому она
И ненавистна и смешна!
Быть может, ветренник младой,
Смеясь над глупой добротой,

---

[1] Раньше чем должно, я возвращаюсь в бой;
Но таково твое желанье, друг!
Твоя рука меня разбудила; ведь это ты сказал мне: выходи!

Г<юго> *(франц.)*. — *Ред.*

Вменяя шалости в закон
И быстрым чувством увлечен,
Ты ложной жалостью хотел
Смягчить ужасный мой удел
Иль осмеясь мою тоску;
Быть может, лестью простаку
Желал о прежнем вспомянуть
И беспощадно обмануть...
Но пусть, игралище страстей,
Я буду куклой для людей,
Пусть их коварства лютый яд
В моей груди умножит ад...
И ты не лучше их ничем...
Не знаю сам, за что, зачем
Я полюбил тебя... Твой взор
Не есть несчастному укор.
Твой голос, звук твоих речей
Мне мил, как сладостный ручей...
Так соловей в ночной тиши
Поет для горестной души.
Так Аббадоне Уриил
Во тьме геенны говорил...
Глаза печальные мои
Слезу приязни и любви
В твоих заметили очах...
Ты любишь сам меня — но ах!
Твое участие ко мне,
Как легкий пепел на огне,
На миг возникнет, оживет —
И вместе с ветром пропадет.
Я не виню тебя!.. Жесток
Ко мне не ты, а злобный рок,
И ты простишь в пылу страстей
Обидной вольности моей...

. . . .
Я снова узник и солдат!
Вот тайный дар моих стихов...
Проникни в силу этих слов...
Прочти, коль вздумаешь, спиши
И не забудь меня в глуши...
Когда ж забудешь — бог с тобой!
Но знай, что я навеки твой...

Спасские казармы, 1828

I

Ты хочешь, друг, чтобы рука
Времен прошедших чудака,
Вооруженная пером,
Черкнула снова кой о чем?
Увы! Старинный жар стихов,
И след сатир и острых слов
Исчезли в буйной голове,
Как след дриады на траве,
Иль запах розы молодой
Под недостойною пятой.
Поэт пленительных страстей
Сидит живой в когтях чертей.
Атласных ж. ...не поет
И чуть по-волчьи не ревет...
Броня сермяжная и штык —
Удел того, кто был велик
На поле перьев и чернил;
Солдатский кивер осенил
Главу, достойную венка...
И Чайльд — Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого...

Но на призывный дружный глас
Отвечу я в последний раз,
Еще до смерти согрешу —
И лист бумаги испишу...
Прочти его и согласись,
Что если средства нет спастись
От угнетенья и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей —
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...
. . . .
. . . . опыт злой
Завесу с глаз моих сорвал
И ясно, ясно доказал,
Что добродетель есть мечта,
. . . . суета.
Любовь и дружба — пара слов,
А жалость — мщение врагов...
Одно под солнцем есть добро —
Неочиненное перо...

II

В столице русских городов
М<щей>, мон<ахов> и попов,
На славном Вале Земляном
Стоит странноприимный дом;
И рядом с ним стоит другой,
Кругом обстроенный, большой —
И этот дом известен нам,
В Москве, под именем казарм;
В казармах этих тьма людей,
И ночью множество .....
На нарах с воинами спят,
И веселятся, и шумят;

И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гаубвахта, все равно...
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;
В ней сырость вечная и тьма,
И проблеск солнечных лучей
Сквозь окна слабо светит в ней;
Растреснутый кирпичный свод
Едва-едва не упадет
И не обрушится на пол,
Который снизу, как Эол,
Тлетворным воздухом несет
И с самой вечности гниет...
В тюрьме жертв на пять или шесть
Ряд малых нар у печки есть.
И десять удалых голов,
<Царя> решительных врагов,
На малых нарах тех сидят,
И кандалы на них гремят...
И каждый день повечеру,
Ложася спать, и поутру
В м<олитве> к г<осподу> Х<ристу>
<Царя российского> в ...
Они ссылают наподряд
И все сл<ужить> ему хотят
За то, что мастер он лихой
За п<устяки> г<онять> скв<озь> с<трой>.
И против нар вдоль по стене
Доска, подобная скамье,
На двух столпах утверждена.

И на скамейке той у окна,
Броней сермяжною одет,
Лежит вербованный поэт.
Броня на нем, броня под ним
И все одна и та же с ним,
Как верный друг, всегда лежит,
И согревает, и хранит;
Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком
На необтесанном столе
Лежат у узника в угле.
Здесь триста шестьдесят пять дней
В кругу плутоновых людей
Он смрадный воздух жизни пьет
И <самовластие> клянет.
Здесь он во цвете юных лет,
Обезображен, как скелет,
С полуостриженной брадой,
Томится лютою тоской...
Он не живет уже умом —
Душа и ум убиты в нем;
Но, как бродячий автомат
Или бесчувственный солдат,
Штыком рожденный для штыка,
Он дышит жизнью дурака:
Два раза на день ест и пьет
И долг природе отдает...

III

Воспоминанья старины,
Как соблазнительные сны,
Его тревожат иногда;
В забвеньи горестном тогда
Он воскресает бытием:

Безумным, радостным огнем
Тогда глаза его горят,
И слезы крупные блестят,
И, очарованный мечтой,
Надежды жизни молодой
Несчастный видит, ловит вновь.
Опять — поэт; опять любовь
К свободе, к миру в нем кипит!
Он к ней стремится, он летит;
Он полон милых сердцу дум...
Но вдруг цепей железных шум
Иль хохот глупый беглецов,
Тюрьмы бессмысленных жильцов,
Раздался в сводах роковых —
И рой видений золотых,
Как легкий утренний туман,
Унес души его обман...
Так жнец на пажити родной,
Стрелой сраженный громовой,
Внезапно падает во прах —
И замер серп в его руках...
Надежду, радость — все взяла
Молниеносная стрела!..

IV

О ты, который возведен
Погибшей в<ольности> на трон,
Или, простее говоря,
О<соба> р<усского> ц<аря>!
Коснется ль звук моих речей
Твоих обманутых ушей?
Узришь ли ты, прочтешь ли ты
Сии правдивые черты?..

Поймешь ли ты, как мудрено
Сказать в душе: все решено!
Как тяжело сказать уму:
«Прости мой ум, иди во тьму»;
И как легко черкнуть перу:
«Ц<арь> Н<иколай>. Б<ыть>
по с<ему>».
Поймешь ли ты, что твой народ
Есть пышный сад, а ты — Ленотр,
Что должен ты его беречь
И ветви свежие не сечь...
Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
Есть не душить, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Мильоны страждущих людей...
Но что?.. К чему напрасный гнев,
Он не сомкнет Молохов зев:
Бессилен звук в моих устах,
Как меч в заржавленных ножнах...
И я в тюрьме... Ватага спит;
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке;
С ружьем в ослабленной руке,
На грудь склонившись головой,
У двери дремлет часовой;
Вблизи усталый караул
Глаза бессонные сомкнул.
На гаубвахте тишина...
Бог винограда, бог вина,
Сын пьяный пьяного отца,
Зачем приятный глас певца,
В часы полуночных пиров,
Не веселит твоих сынов?
Зачем на лире золотой

Перед волшебницей младой
В восторге чувств он не гремит
И бледный, пасмурный сидит
Без возлияний и друзей
В руках едва ль полулюдей...
Не он ли свежесть ранних сил
Тебе на жертву приносил
Во дни беспечной старины?
Не он ли розами весны
Твой благодетельный покал
Рукой покорной украшал?
Свершилось!.. Нет его! Ударь
Поблекшим тирсом в свой алтарь!
Пролей вино из томных глаз!
Твой жрец, твой верный жрец угас!
Угас, как факел буйных дев,
Исчез, как громкий их напев:
«Эван, Эвое, сильный Вакх!»,
Как разум скучный на пирах!..
Вторый Н<ерон>, Ис<кариот>,
У<дав> Б<разильский> и Н<емврод>
Его враждой своей почтил
И, лобызая, удушил!

V

Mais qu'importe? accompli ta mission sacrée[1].

Оставлен всеми, одинок,
Как в море брошенный челнок
В добычу яростной волне,
Он увядает в тишине...

---

[1] Ну, так что же? Завершай свою священную миссию (*франц.*).— *Ред.*

. . . .
Участье верное друзей,
Которых шумные рои,
Под ложной маскою любви,
Всегда готовы для услуг,
Когда есть денежный сундук
Или подобное тому,—
Не в тягость более ему:
Из ста знакомых щегольков,
Большого света знатоков,
Никто ошибкою к нему
Не залетал еще в тюрьму...
Да и прекрасно... Для чего?..
Там нет ни водки, ничего...
Чутье животных, модный тон
Или приличия закон —
Вот тайна дружественных уз...
А нежность сердца, тонкий вкус —
Причина важная забыть
Того, кто слезы должен лить:
«Ах, как он жалок, cependant,
C'était naguère un bon enfant!»[1] —
Лепечет милый фанфарон,
И долг приязни заплачен...
И что пенять? Они умны,
Их рассуждения верны:
Так должно было; наперед
Судьба нам сделала расчет:
Им наслаждение дано,
А мне страданье суждено!
И правы мрачный фаталист
И всем довольный оптимист...

[1] А хороший парень был когда-то *(франц.)*.— *Ред.*

VI

Система звезд, прыжок сверчка,
Движенья моря и смычка —
Все воля творческой руки...
Иль вера в бога пустяки?
Сказать, что нет его — смешно;
Сказать, что есть он — мудрено.
Когда он есть, когда он — ум,
Превыше гордых наших дум,
Правдивый, вечный и благой,
В себе живущий сам собой,
Омега, альфа бытия...
Тогда он нам не судия:
Возможно ль то ему судить,
Что вздумал сам он сотворить?
Свое творенье осудя,
Он опровергнет сам себя!..
Твердить преданья старины,
Что мы в делах своих вольны,
Есть перекорствовать уму,
И, значит, впасть в иную тьму...
Его предведенье могло
Моей свободы видеть зло —
Он должен был из тьмы веков
Воззвать атом мой для оков.
Одно из двух: иль он желал,
Чтобы невинно я страдал,
Или слепой, свирепый рок
В пучину бед меня завлек?..
Когда он видел, то хотел,
Когда хотел, то повелел,
Все чрез него и от него,
А заключенье из того:

Когда я волен — он тиран,
Когда я кукла — он болван.

VII

Так и забвение друзей.
Оно не есть коварство змей;
Так пусть же тягостной руки
Меня снедающей тоски
Не испытают на себе,
В угодность ветреной судьбе;
Страдалец давний, но не злой
Постыдной зависти чертой
Чужого счастья не смутит!
. . . .
А ты, примерный человек,
Души высокой образец,
Мой благодетель и отец,
О Струйский, можешь ли когда
Добычу гнева и стыда,
Певца преступного простить?..
Неблагодарный из людей,
Как погибающий злодей
Перед секирой роковой,
Теперь стою перед тобой!..
Мятежный век свой погубя,
В слезах раскаянья тебя
Я умоляю! . . . .
Священным именем отца
Хочу назвать тебя!.. Зову...
И на покорную главу
За преступления мои
Прошу прощения любви!..

Прости!.. прости!.. моя вина
Ужасной местью отмщена!

. . . .

VIII

Завеса вечности немой
Упала с шумом предо мной...
Я вижу . . . .
. . . . мой стон
Холодным ветром разнесен,
Мой труп . . . .
Добыча вранов и червей

. . . .

И нет ни камня, ни к<реста>,
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

1828

КРЕМЛЕВСКИЙ САД

Люблю я позднею порой,
Когда умолкнет гул раскатный
И шум докучный городской,
Досуг невинный и приятный
Под сводом неба провождать;
Люблю задумчиво питать
Мои беспечные мечтанья
Вкруг стен кремлевских вековых,
Под тенью липок молодых
И пить весны очарованье
В ароматических цветах,
В красе аллей разнообразных,
В блестящих зеленью кустах.
Тогда, краса ленивцев праздных,
Один, не занятый никем,
Смотря и ничего не видя,
И, как султан, на лавке сидя,
Я созидаю свой эдем
В смешных и странных помышленьях.
Мечтаю, грежу как во сне,
Гуляю в выспренних селеньях —
На солнце, небе и луне;
Преображаюсь в полубога,
Сужу решительно и строго
Мирские бредни, целый мир,
Дарую счастье миллионам...
(Весы правдивые законам)
И между тем, пока мой пир

Воздушный, легкий и духовный
Приемлет всю свою красу,
И я себя перенесу
Гораздо дальше подмосковной,—
Плывя, как лебедь, в небесах,
Луна сребрит седые тучи;
Полночный ветер на кустах
Едва колышет лист зыбучий;
И в тишине вокруг меня
Мелькают тени проходящих,
Как тени пасмурного дня,
Как проблески огней блудящих.

<1829>

НА СМЕРТЬ ТЕМИРЫ

Быстро, быстро пролетает
Время наш подлунный свет,
Все разит и сокрушает,
И ему препятствий нет.
Ах, давно ль весна златая
Расцветала на полях?
Час пробил — зима седая
Мчится в вихрях и снегах!
Лишь возникла юна роза,
Развернула стебельки —
Дуновением мороза
Опустилися листки.
Так и ты, моя Темира,
Нежный друг души моей,
Быв красой недавно мира,
Вдруг увяла в цвете дней!
Лишь блеснула, как явленье,
И — сокрылася опять...
Ах, одно мне утешенье —
О тебе воспоминать!

<1829>

ТАБАК

Курись, табак мой! Вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И облаками расстилай
  Свой запах ароматный!
Не столько персу мил кальян
  Или шербет душистый,
Сколь мил душе моей туман
  Твой легкий и волнистый!
Тиран лишил меня всего —
  И чести и свободы,
Но все курю, назло его,
  Табак, как в прежни годы;
Курю и мыслю: как горит
  Табак мой в трубке жаркой,
Так и меня испепелит
  Рок пагубный и жалкой...
Курись же, вейся, вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И, если можно, исчезай
  И жизнь с ним невозвратно!

<1829>

НАДЕНЬКЕ

Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Быстро волны ручейка
Мчат оторванный цветок;
Видит резвый мотылек
Листик алого цветка,
Вьется в воздухе, летит,
Ближе... вот к нему прильнул...
Ветер волны колыхнул —
И цветок на дне лежит...
Где же, где же, мотылек,
Роза нежная твоя?
Ах, не может для тебя
Возвратить ее поток!..
Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Было время, как и ты,
Я глядел на божий свет;
Но прошли пятнадцать лет —
И рассеялись мечты.
Хладной бурною рекой
Рой обманов пролетел,
И мой дух окаменел
Под свинцовою тоской!

Где ты, радость? Где ты, кровь?
Где огонь бывалых дней?..
Ах, из памяти моей
Истребила их любовь!
Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Будет время, как и я,
Ты о прежнем воздохнешь
И печально вспомянешь:
«Где ты, молодость моя?..»
Молчалива и одна,
Будешь сердце поверять
И, уныния полна,
Втайне слезы проливать.
Потемнеют небеса
В ясный полдень для тебя,
Не узнаешь ты себя —
Пролетит твоя краса...
Смейся ж, смейся и шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!

<1830>

КАЗАК

Под Черные горы на злого врага
Отец снаряжает в поход казака.
Убранный заботой седого бойца
Уж трам абазинский стоит у крыльца.
Жена молодая, с поникшей главой,
Приносит супругу доспех боевой,
И он принимает от белой руки
Кинжал Базалая, булат Атаги
И труд Царяграда — ружье и пистоль[1].
На скатерти белой прощальная соль,
И хлеб, и вино, и Никола святой...
Родителю в ноги... жене молодой —
С таинственной бурей таинственный взор
И брови на шашку — вине приговор,
Последнего слова и ласки огонь!..
И скрылся из виду и всадник и конь!
Счастливый казак!
От вражеских стрел, от меча и огня
Никола хранит казака и коня.
Враги заплатили кровавую дань,
И смолкла на время свирепая брань.
И вот полунощною тихой порой
Он крадется к дому глухою тропой,
Он милым готовит внезапный привет,
В душе его мрачного предчувствия нет.
Он прямо в светлицу к жене молодой —

[1] На Кавказе между казаков пистолет так всегда называется.

И кто же там с нею?.. Казак холостой!
Взирает обманутый муж на жену
И слышит в руке и душе сатану:
«Губи лицемерку — она неверна!»
Но вскоре рассудком изгнан сатана...
Казак изнуренные силы собрал
И, крест сотворивши, Николе сказал:
«Никола, Никола, ты спас от войны,
Почто же не спас от неверной жены?»
Несчастный казак!

1830, Кавказ

ЧЕРНАЯ КОСА

Там, где свистящие картечи
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.
Она в крови и без ответа,
Но тайный голос произнес:
«Булат, противник Магомета,
Меня с главы девичьей снес!
Гордясь красой неприхотливой,
В родной свободной стороне
Чело невинности стыдливой
Владело мною в тишине.
Еще за час до грозной битвы
С врагом отечественных гор
Пылал в жару святой молитвы
Звезды Чир-Юрта ясный взор.
Надежда храбрых на Пророка
Отваги буйной не спасла,
И я во прах веленьем рока
Скатилась с юного чела!
Оставь меня!.. Кого лелеет
Украдкой нежная краса,
Тому на сердце грусть навеет
В три грани черная коса...»

1831

ПЕСНИ

I

Зачем задумчивых очей
С меня, красавица, не сводишь?
Зачем огнем твоих речей
Тоску на душу мне наводишь?
Не припадай ко мне на грудь
В порывах милого забвенья,—
Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воспалить
Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить —
Не для меня очарованья!
Я был любим, и сам любил —
Увял на лоне сладострастья,
И в хладном сердце схоронил
Минуты горестного счастья;
Я рано сорвал жизни цвет,
Все потерял, все отдал Хлое,—
И прежних чувств и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы красота
И девы пламенные взоры,
Но сердце мучит пустота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!

<1831>

II

У меня ль, молодца,
Ровно в двадцать лет
Со бела со лица
Спал румяный цвет,
Черный волос кольцом
Не бежит с плеча;
На ремне золотом
Нет грозы-меча,
За железным щитом
Нет копья-огня,
Под черкесским седлом
Нет стрелы-коня;
Нет перстней дорогих
Подарить милой!
Без невесты жених,
Без попа налой...
Расступись, расступись,
Мать сыра земля!
Прекратись, прекратись,
Жизнь-тоска моя!
Лишь по ней, по милой,
Красен белый свет;
Без милой, дорогой
Счастья в мире нет!

<1832>

III

Там, на небе высоко
Светит солнце без лучей,—
Так от друга далеко
Гаснет свет моих очей!..

У косящата окна
Раскрасавица сидит;
Призадумавшись, она
Буйну ветру говорит:
«Не шуми ты, не шуми,
Буйный ветер, под окном;
Не буди ты, не буди
Грусти в сердце ретивом;
Не тверди мне, не тверди
Об изменнике моем!
Изменил мне, изменил
Мой губитель роковой;
Насмеялся, пошутил
Над моею простотой,
Над моею простотой,
Над девичьей красотой!
Я погибла бы, душа
Красна девка, от ножа.
Я погибла б от руки,
А не с горя и тоски.
Ты убей меня, убей,
Ненавистный мой злодей!
Я сказала бы ему,
Милу другу своему:
«Не жалею я себя,
Ненавижу я тебя!
Лей и пей ты мою кровь,
Утуши мою любовь!»
Не шуми ж ты, не шуми,
Буйный ветер, надо мной;
Полети ты, полети
Вдоль дороги столбовой!
По дороге столбовой
Скачет воин молодой;

Налети ты на него,
На тирана моего;
Просвищи, как жалкий стон,
Прошепчи ему поклон
От высоких от грудей,
От заплаканных очей,—
Чтоб он помнил обо мне
В чужедальней стороне;
Чтобы с лютою тоской,
Вспоминая, воздохнул,
И с горючею слезой
На кольцо мое взглянул;
Чтоб глядел он на кольцо,
Как на друга прежних дней,
Как на белое лицо
Бедной девицы своей!..»

<1832>

ПЕСНЬ ПОГИБАЮЩЕГО ПЛОВЦА

I

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

II

Все чернее
Свод надзвездный,
Все страшнее
Воют бездны.
Глубь без дна —
Смерть верна!
Как заклятый
Враг грозит,
Вот девятый
Вал бежит!..

III

Горе, горе!
Он настигнет:
В шумном море
Челн погибнет!
Гроб готов...
Треск громов
Над пучиной
Ярых вод —
Вздох пустынный
Разнесет!

IV

Дар заветный
Провиденья,
Гость приветный
Наслажденья —
Жизнь иль миг!
Не привык
Утешаться
Я тобой —
И расстаться
Мне с мечтой!

V

Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы,—
С юных лет
В море бед

Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег!

VI

На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных
Я скользил;
Я шутил
Грозной влагой —
Смертный вал
Я отвагой побеждал!

VII

Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире,
Одинок,
Как челнок,
Уз любови
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал!

VIII

Парус белый
Перелетный,

Якорь смелый
Беззаботный,
Тусклый луч
Из-за туч,
Проблеск дали
В тьме ночей —
Заменяли
Мне друзей!

IX

Что ж мне в жизни
Безызвестной?
Что в отчизне
Повсеместной?
Чем страшна
Мне волна?
Пусть настигнет
С вечной мглой,
И погибнет
Труп живой!..

X

Все чернее
Свод надзвездный;
Все страшнее
Воют бездны;
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

<1832>

ЗВЕЗДА

Она взошла, моя звезда,
Моя Венера золотая;
Она блестит, как молодая
В уборе брачном красота!
Пустынник мира безотрадный,
С ее таинственных лучей
Я не свожу моих очей
В тоске мучительной и хладной.
Моей бездейственной души
Не оживляя вдохновеньем,
Она небесным утешеньем
Ее дарит в ночной тиши.
Какой-то силою волшебной
Она влечет меня к себе
И, перекорствуя судьбе,
Врачует грусть мечтой целебной.
Предавшись ей, я вижу вновь
Мои потерянные годы,
Дни счастья, дружбы и свободы,
И помню первую любовь.

<1832>

БУКЕТ

К груди твоей, Эмма,
Приколот букет;
Он жизни эмблема,
Но розы в нем нет.
Узорней, алее
Есть много цветов;
Но краше, милее
Царица лугов.
Эфирный влетает
В окно мотылек,
На персях лобзает
Он каждый цветок,
Над ландышем вьется,
К лилее прильнул,
Кружится, несется —
И быстро вспорхнул.
Куда ж ты, бесстрастный
Любовник цветов?
Иль ищешь прекрасной
Царицы лугов?
О Эмма, о Эмма!
Вот блеск красоты!..
Как роза, эмблема
Невинности ты.

<1832>

К ДРУЗЬЯМ

Игра военных суматох,
Добыча яростной простуды,
В дыму лучинных облаков,
Среди горшков, бабья, посуды,
Полуразлегшись на доске
Иль на скамье, как вам угодно,
В избе негодной и холодной,
В смертельной скуке и тоске
Пишу к вам, ветреные други!
Пишу — и больше ничего,—
И от поэта своего
Прошу не ждать другой услуги.
Я весь — расстройство... Я дышу,
Я мыслю, чувствую, пишу,
Расстройством полный; лишь расстройство
В моем рассудке и уме...
В моем посланьи и письме
Найдете вы лишь беспокойство!

. . . .

. . . .

И этот приступ неприродный
Вас удивит, наверно, вдруг.
Но, не трактуя слишком строго,
Взглянув в себя самих немного,
Мое безумство не виня,
Вы не осудите меня.
Я тот, чем был, чем есть, чем буду,
Не пременюсь, непременим...
Но ах! когда и где забуду,

Что роком злобным я гоним!
Гоним, убит, хотя отрада
Идет одним со мной путем,
И в небе пасмурном награда
Мне светит радужным лучом.
«Я пережил мои желанья!» —
Я должен с Пушкиным сказать,
«Минувших дней очарованья»
Я должен вечно вспоминать.
Часы последних сатурналий,
Пиров, забав и вакханалий,
Когда, когда в красе своей
Изменят памяти моей?
Я очень глуп, как вам угодно,
Но разных прелестей Москвы
Я истребить из головы
Не в силах... Это превосходно!
Я вечно помнить буду рад:
«Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд».
Моя душа полна мечтаний,
Живу прошедшей суетой,
И ряд несчастий и страданий
Я заменять люблю игрой
Надежды ложной и пустой.
Она мне льстит, как льстит игрушка
Ребенку в праздник годовой,
Или как льстит бостон и мушка
Девице дряхлой и седой,—
Хоть иногда в тоске бессонной
Ей снится образ жениха;
Или как запах благовонный
Льстит вялым чувствам старика.

Вот все, что гадкими стихами
Поэт успел вам написать,
И за небрежными строками
Блестит безмолвия печать...
В моей избе готовят ужин,
Несут огромный чан ухи,
Стол ямщикам голодным нужен —
Прощайте, други и стихи!
Когда же есть у вас забота
Узнать, когда и где охота
Во мне припала до пера,—
В деревне *Лысая гора.*

1832

МОРЕ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
«О море, море!— я мечтал
В раздумье грустном и глубоком,—
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоем высоком?
Кто, не разгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?
. . . .
. . . .
Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих надо мной?
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?
Что ты? Откуда? Из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззвавшей все из ничего?
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты

Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты?»
Вот тайный плод воображенья,
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырял пред бурей утлый челн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его:
В отваге он нашел измену!..
В другое время на брегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах:
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?

<1832>

ВОДОПАД

Между стремнин с горы высокой
Ручьи прозрачные журчат,
И вдруг, сливаясь в ток широкой,
Являют грозный водопад.
Громады волн буграми хлещут
В паденьи быстром и крутом
И, разлетевшись, ярко блещут
Вокруг серебряным дождем;
Ревет и стонет гул протяжный
По разорвавшейся реке
И, исчезая с пеной влажной,
Смолкает глухо вдалеке.
Вот наша жизнь! вот образ верный
Погибшей юности моей!—
Она в красе нелицемерной
Сперва катилась, как ручей;
Потом, в пылу страстей безумных,
Быстра, как горный водопад,
Исчезла вдруг при плесках шумных,
Как эха дальнего раскат.
Шуми, шуми, о сын природы!
Ты безотрадною порой
Певцу напомнил блеск свободы
Своей свободною игрой!

<1832>

РОМАНСЫ

I

Пышно льется светлый Терек
В мирном лоне тишины;
Девы юные на берег
Вышли встретить пир весны.

Вижу игры, слышу ропот
Сладкозвучных голосов,
Слышу резвый легкий топот
Разноцветных башмачков.

Но мой взор не очарован
И блестит не для побед —
Он тобой одним окован,
Алый шелковый бешмет!

Образ девы недоступной,
Образ строгой красоты
Думой грустной и преступной
Отравил мои мечты.

Для чего у страсти пылкой
Чародейной силы нет —
Превратиться невидимкой
В алый шелковый бешмет?

Для чего покров холодный,
А не чувство, не любовь,
Обнимает, жмет свободно
Гибкий стан, живую кровь?

<1832>

II

Утро жизнью благодатной
Освежило сонный мир,
Дышит влагою прохладной
Упоительный зефир.

Нега, радость и свобода
Торжествуют юный день;
Но в моих очах природа
Отуманена, как тень.

Что мне с жизнью, что мне с миром?
На душе моей тоска
Залегла, как над вампиром
Погребальная доска.

Вздох волшебный сладострастья
С стоном девы пролетел,
И в груди за призрак счастья
Смертный хлад запечатлел.

Уж давно огонь объятий
На злодее не горит,
Но над ним, как звук проклятий,
Этот стон ночной гремит.

О, исчезни, стон укорный,
И замри, как замер ты
На устах красы упорной
Под покровом темноты!

<1832>

III

Одел станицу мрак глубокой...
Но я казачкой осужден
Увидеть снова прежний сон
На ложе скуки одинокой.

И знаю я, приснится он,
На горе деве непреклонной!
Приснится завтра ей, не сонной,
Коварный сон, мятежный сон.

Моей любви нетерпеливость
Утушит детскую боязнь,
Узнает счастие и казнь
Ее упорная стыдливость.

Станицу скроет темнота,
Но уж не мне во мраке ночи,
А ей предстанет перед очи
Неотразимая мечта.

И юных персей трепетанье,
И ропот уст, и жар ланит —
Все сладко, сладко наградит
Меня за тайное страданье.

<1832>

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Из-за черных облаков
Блещет месяц в вышине,
Видны в стане казаков
Десять копий при луне.
Отчего ж она темна,
Что не светится она,
Сталь десятого копья?
Что за призрак вижу я
При обманчивой луне
На таинственном копье?
О, не призрак — наяву
Вижу вражеский укор —
Безобразную главу
Сына брани, сына гор.
Вечный сон — ее удел
На отеческих полях;
На убийственных мечах
Он к ней рано прилетел.
Пять ударов острия
Твердый череп разнесли;
Муку смерти затая,
Очи кровью затекли.
Силу дивную бойца
Злобный гений превозмог, —
Труп холодный мертвеца
В землю с честию не лег.
И глава его темнит
Сталь десятого копья,

И душа его парит
К новой сфере бытия...
. . . .
. . . .

<1832>

* * *

Бесценный друг счастливых дней,
Вина святого упованья
Души измученной моей
Под игом грусти и страданья.
Мой верный друг, мой нежный брат,
По силе тайного влеченья
Кого со мной не разлучат
Времен и мест сопротивленья.
Кто для меня и был и есть
Один и все, кому до гроба
Не очернят меня ни лесть,
Ни зависть черная, ни злоба;
Кто овладел, как чародей,
Моим умом, моею думой,
Кем снова ожил для людей
Страдалец мрачный и угрюмый,—
Бесценный друг, прими плоды
Моих задумчивых мечтаний,
Минутной резвости следы
И цепь печальных вспоминаний!
Ты не найдешь в моих стихах
Волшебных звуков песнопенья:
Они родятся на устах
Певцов любви и наслажденья...
Уже давно чуждаюсь я
Их благодатного привета,
Давно в стихии шумной света
Не вижу радостного дня...

Пою, рассеянный, унылый,
В степях далекой стороны
И пробуждаю над могилой
Давно утраченные сны...
Одну тоску о невозвратном,
Гонимый лютою судьбой,
В движеньи грустном и приятном,
Я изливаю пред тобой!
Но ты, понявши тайну друга,
Оценишь сердце выше слов
И не сменишь моих стихов
Стихами резвыми досуга
Других счастливейших певцов.

7 февраля 1832
Крепость Грозная

ФЕДОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОНИ

Was sein soll — muss geschehen![1]

Я не скажу тебе, поэт,
Что греет грудь мою так живо,
И не открою сердца,— нет!
И поэтически, игриво
Я гармоническим стихом,
В томленьи чувств перегорая,
Не выскажу тебе о том,
Чем дышит грудь полуживая,
Чем движет мыслию во мне,
Как глас судьбины, глас пророка
И часто, часто в тишине
Огнем пылающего ока
Так и горит передо мной!
О, как мне жизнь тогда светлеет!
Мной все забыто — и покой
В прохладе чувств меня лелеет.
За этот мир я б все отдал,
За этот миг я бы не взял
И гурий неги Гаафица —
Он мне нужнее, чем денница,
Чем для рожденного птенца
Млеко родимого сосца!
Так... Не испытывай напрасно,
Поэт, волнения души
И искры счастия прекрасной
В ее начале не туши!

---

[1] Чему быть — тому не миновать! (*нем.*).— *Ред.*

Она угаснет — и за нею
Мои глаза закрою я,
Но за могилою моею
Еще услышишь ты меня.
Лишь с гневом яростного мщенья
Она далеко перейдет,
А все врага найдет
В веках, грядущих поколеньях!

19 февраля 1832

ЦЫГАНКА

Кто идет перед толпою
По широкой площади́
С загорелой красотою
На щеках и на груди?
Под разодранным покровом
Проницательна, черна,
Кто в величии суровом
Эта дивная жена?..
Вьются локоны небрежно
По нагим ее плечам,
Искры наглости мятежно
Разбежались по очам,—
И, страшней ударов сечи,
Как гремучая река,
Льются сладостные речи
У бесстыдной с языка.
Узнаю тебя, вакханка
Незабвенной старины:
Ты коварная цыганка,
Дочь свободы и весны!
Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня!
Ты знакома вдохновенью
Поэтической мечты,
Ты дарила наслажденью
Африканские цветы!

Ах, я помню... Но ужасно
Вспоминать лукавый сон;
Фараонка, не напрасно
Тяготит мне душу он!
Пронеслась с годами сила,
Я увял,— и наяву
Мне рука твоя вручила
Приворотную траву...

<1833>

РАСКАЯНИЕ

Я согрешил против рассудка,
Его на миг я разлюбил:
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил.
Я променял святую совесть
На мщенье буйного глупца,
И отвратительная повесть
Гласит безумие певца.
Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой.
Кинжал коварный сожаленья,
Притворной дружбы и любви
Теперь потонет без сомненья
В моей бунтующей крови.
Толпа знакомцев вероломных,
Их шумный смех, и строгий взор
Мужей значительно безмолвных,
И ропот дев неблагосклонных —
Всё мне и казнь и приговор!
Как чад неистовый похмелья,
Ты отлетела наконец,
Минута злобного веселья!
Проснись, задумчивый певец!
Где гармоническая лира,
Где барда юного венок?
Ужель повергнул их порок
К ногам ничтожного кумира?

Ужель бездушный идеал
Неотразимого разврата
Тебя, как жертву казремата,
Рукой поносной оковал?
О нет!.. Свершилось!.. Жар мятежный
Остыл на пасмурном челе...
Как сын земли, я дань земле
Принес чредою неизбежной:
Узнал бесславие, позор
Под маской дикого невежды,—
Но пред лицом Кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам
С цветов пустынных к небесам,
Я передам моим струнам
И рев и вой минувшей бури.

<1833>

АХАЛУК

Ахалук мой, ахалук,
Ахалук демикотонный,
Ты работа нежных рук
Азиатки благосклонной!
Ты родился под иглой
Атагинки чернобровой,
После робости суровой
И любви во тьме ночной.
Ты не пышной пестротою,
Цветом гордых узденей,
Но смиренной простотою,
Цветом северных ночей
Мил для сердца и очей...
Черен ты, как локон длинный
У цыганки кочевой;
Мрачен ты, как дух пустынный —
Сторож урны гробовой;
И серебряной тесьмою,
Как волнистою струею
Дагестанского ручья,
Обвились твои края.
Никогда игра алмаза
У Могола на чалме,
Никогда луна во тьме,
Ни чело твое, о База —
Это бледное чело,
Это чистое стекло,
Споря в живости с опалом,

Под ревнивым покрывалом,—
Не сияли так светло.
Ах, серебряная змейка,
Ненаглядная струя —
Это ты, моя злодейка,
Ахалук суровый — я!

<1833>

СТЕПЬ

Светлый месяц из-за туч
Бросил тихо ясный луч
По степи безводной;
Как янтарная слеза,
Блещет влажная роса
На траве холодной.
Время, девица-душа!..
Из-под сени шалаша
Пролети украдкой;
Улови, прелестный друг,
От завистливых подруг
Миг любови краткой!
Не звенит ли за холмом
Милый голос?
Не сверкнул ли над плечом
Черный волос?
Не знакомое ли мне
Покрывало
В благосклонной тишине
Промелькало?
Сердце вещее дрожит;
Дева юная спешит
К тайному приюту.
Скройся, месяц золотой,
Над счастливою четой,
Скройся на минуту!
Миг волшебный пролетел,
Как виденье,

И осталось мне в удел
      Сожаленье!
Скоро ль, девица-краса,
      От желанья
Потемнеют небеса
      Для свиданья?..

<1833>

ОКНО

Там, над быстрою рекой,
Есть волшебное окно;
Белоснежною рукой
Открывается оно.
Груди полные дрожат
Из-под тени полотна;
Очи светлые блестят
Из волшебного окна...
. . . .
. . . .
И, склонясь на локоток,
Под весенний вечерок,
Миловидна, хороша
Смотрит девица-душа.
Улыбнется — и природа расцветет,
И приятней соловей в саду поет,
И над ручкою лилейной
Вьется ветер тиховейный,
И порхает,
И летает
С сладострастною мечтой
Над девицей молодой,
Но лишь только опускает раскрасавица окно,
Все над Тереком суровым и мертво и холодно.
Улыбнись, душа-девица,
Улыбнись, моя любовь,
И вечерняя зарница
Осветит природу вновь!

Нет! жестокая не слышит
Робкой жалобы моей
И в груди ее не пышет
Пламень неги и страстей.
Будет время, равнодушная краса,
Разнесется от печали светло-русая коса!
Сердце пылкое, живое
Загрустит во тьме ночной,
И страдание чужое
Ознакомится с тобой;
И откроешь ты ревниво
Потаенное окно,
Но любви нетерпеливой
Не дождется уж оно!

<1833>

ПЕСНЬ ГОРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Зашумел орел двуглавый
Над враждебною рекой;
Прояснился путь кровавый
Перед дружною толпой.
Ты заржавел, меч булатный,
От бездейственной руки;
Заждались вы славы ратной,
Троегранные штыки!
Завизжит свинец летучий
Над бесстрашной головой,
И нагрянет черной тучей
На врага зловещий бой.
Разорвет ряды злодея
Смертоносный ураган,
И исчезнет, цепенея,
Ненавистный мусульман.
Распадутся с ярым треском
Неприступные скалы,
И зажжется новым блеском
Грозный день Гебек-Калы[1].

<1833>

---

[1] Гебек-Кала, или Святая гора, хребет Салатавских гор, где генерал-лейтенант Вельяминов после упорного сражения разбил наголову Кази-Муллу, который без туфель, трубки и бурки бежал с поля сражения и едва не был захвачен в плен с своею любовницею, армянкою из города Кизляра.

ИМЕНИННИКУ

Что могу тебе, Лозовский,
Подарить для именин?
Я, по милости бесовской,
Очень бедный господин!
В стоицизме самом строгом,
Я живу без серебра,
И в шатре моем убогом
Нет богатства и добра,
Кроме сабли и пера.
Жалко споря с гневной службой,
Я ни гений, ни солдат.
И одной твоею дружбой
В доле пагубной богат!
Дружба — неба дар священный,
Рай земного бытия!
Чем же, друг неоцененный,
Заплачу за дружбу я?
Дружбой чистой, неизменной,
Дружбой сердца на обмен:
Плен торжественный за плен!..
Посмотри: невольник страждет
В неприятельских цепях
И напрасно воли жаждет,
Как источника в степях.
Так и я, могучей силой
Предназначенный тебе,
Не могу уже, мой милый,
Перекорствовать судьбе...

Не могу сказать я вольно:
«Ты чужой мне, я не твой!»
Было время — и довольно...
Голос пылкий и живой
Излетел, как бури вой,
Из груди моей суровой...
Ты услышал дивный звук,
Громкий отзыв жизни новой —
И уста и пламень рук,
Будто с детской колыбели,
Навсегда запечатлели
В нас святое имя: друг!
В чем же, в чем теперь желанье
Имениннику души:
Это верное признанье
Глубже в сердце запиши!..

30 августа 1833
На Лубянке, дом Лухманова

ДУХИ ЗЛА

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада,
А жизнь — мученье без конца.

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благости изрек:
«Да будет прах величия основой!»
И стал из праха человек...

Тогда ему, светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын его любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого,
Вились архангелов рои.

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом,
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огнь невинности покорной
В сынах бессмертия потух —
И грозно пал, с гордынею упорной,
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд!.. Могучая десница
Подъяла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия,
И отказал в надежде примиренья
Ему правдивый судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состраданья
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам,
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам!

8 июля 1834
Село Ильинское

* * *

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни *тридцать лет*,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

Июль 1834

К Е..... И..... Б..... Й

Таланты ваши оценить
Никто не в силах, без сомненья!
Того ни с чем нельзя сравнить,
Что выше всякого сравненья!..
Вы рождены пленять сердца
Душой, умом и красотою
И чувств высоких полнотою
Примерной матери и редкого отца.
О, тот постигнул верх блаженства,
Кто высшей цели идеал,
Кто все земные совершенства
В одном созданье увидал.
Кому же? Мне, рабу несчастья,
Приснился дивный этот сон —
И с тайной силой самовластья
Упал, налег на душу он.
Я вижу! нет, не сновиденье
Меня ласкает в тишине!
То не волшебное явленье
Страдальцу в дальней стороне!
Не гармоническая лира
Звучит и стонет надо мной
И из вещественного мира
Зовет, зовет меня с собой
К моей отчизне неземной!..
Нет — это вы! Не очарован
Я бредом пылкой головы...
Цепями грусти не окован
Мой дух свободный... Это вы!..

Кто, кроме вас, творящими перстами,
Единым очерком холодного свинца
Дает огонь и жизнь, с минувшими страстями,
Чертам бездушным мертвеца?
Чья кисть, назло природе горделивой,
Враждует с ней на лоске полотна
И воскрешает прихотливо,
Как мощный дух, века и времена?
Так это вы!.. Я перед вами...
Вы мой рисуете портрет —
И я мирюсь с жестокими врагами,
Мирюсь с самим собой! Я вижу новый свет!
Простите смелости безумной
Певца, гонимого судьбой,
Который, после бури шумной,
В эмали неба голубой
Следит звезду надежды благосклонной
И, счастливый, в тени приветливой садов
Пьет жадно воздух благовонный
Ароматических цветов!..

11 июля 1834
Село Ильинское

* * *

Зачем хотите вы лишить
Меня единственной отрады —
Душой и сердцем вашим быть
Без незаслуженной награды?

Вы наградили всем меня —
Улыбкой, лаской и приветом,
И если я ничто пред целым светом,
То с этих пор — я дорог для себя.

Я не забуду вас в глуши далекой,
Я не забуду вас в мятежной суете;
Где б ни был я, везде с тоской глубокой
Я буду помнить вас — везде!..

Июль 1834

НЕГОДОВАНИЕ

Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное,
В блеске радужных лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось от очей!
Ты не светишь мне по-прежнему,
Не горишь в моей груди —
Предан року неизбежному
Я на жизненном пути.
Тучи мрачные, громовые
Над главой моей шумят;
Предвещания суровые
Дух унылый тяготят.
Ах, как много драгоценного
Я в сей жизни погубил!
Как я идола презренного —
Жалкий мир — боготворил!
С силой дивной и кичливою
Добровольного бойца
И с любовию ревнивою
Исступленного жреца
Я служил ему торжественно,
Без раскаянья страдал
И рассудка луч божественный
На безумство променял!
Как преступник, лишь окованный
Правосудною рукой,—

Грозен ум, разочарованный
Светом истины нагой!
Что же!.. Страсти ненасытные
Я таил среди огня,
И друзья — злодеи скрытные —
Злобно предали меня!
Под эгидою ласкательства,
Под личиною любви
Роковой кинжал предательства
Потонул в моей крови!
Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов,
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Торжествуют на земле!
Люди, люди развращенные —
То рабы, то палачи,—
Бросьте, злобой изощренные,
Ваши копья и мечи!
Не тревожьте сталь холодную —
Лютой ярости кумир!
Вашу внутренность голодную
Не насытит целый мир!
Ваши зубы кровожадные
Блещут лезвием косы —
Так грызитесь, плотоядные,
До последнего, как псы!..

<1835>

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

В темной горнице постель;
Над постелью колыбель;
В колыбели с полуночи
Бьется, плачет что есть мочи
Беспокойное дитя...
Вот, лампаду засветя,
Чернобровка молодая
Суетится, припадая
Белой грудью к крикуну,
И лелеет, и ко сну
Избалованного клонит,
И поет, и тихо стонет
На чувствительный распев
Девяностолетних дев:

Усыпительная песня

«Да усни же ты, усни,
Мой хороший молодец!
Угомон тебя возьми,
О постылый сорванец!
Баю-баюшки-баю!

Уж и есть ли где такой
Сизокрылый голубок,
Ненаглядный, дорогой,
Как мой миленький сынок?
Баю-баюшки-баю!

Во зеленом во саду
Красно вишенье растет;

По широкому пруду
Белый селезень плывет:
Баю-баюшки-баю!

Словно вишенье румян,
Словно селезень он бел —
Да усни же ты, буян!
Не кричи же ты, пострел!
Баю-баюшки-баю!

Я на золоте кормить
Буду сына моего;
Я достану, так и быть,
Царь-девицу для него...
Баю-баюшки-баю!

Будет важный человек,
Будет сын мой генерал...
Ну, заснул... хоть бы навек!
Побери его провал!
Баю-баюшки-баю!»

Свет потух над генералом;
Чернобровка покрывалом
Обвернула колыбель —
И ложится на постель...
В темной горнице молчанье,
Только тихое лобзанье
И неясные слова
Были слышны раза два...
После, тенью боязливой,
Кто-то, чудилося мне,
Осторожно и счастливо,
При мерцающей луне,
Пробирался по стене.

<1835>

САРАФАНЧИК

Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
Я надела вечерком —
Сарафанчик,
Расстеганчик!

В разноцветном хороводе
Я играла на свободе
И смеялась, как дитя!
И в светлицу до рассвета
Воротилась; только где-то
Разорвала я, шутя,
Сарафанчик,
Расстеганчик!

Долго мать меня журила,
И до свадьбы запретила
Выходить за ворота;
Но за сладкие мгновенья
Я тебя без сожаленья
Оставляю навсегда,
Сарафанчик,
Расстеганчик!

<1835>

ОТЧАЯНИЕ

Он ничего не потерял, кроме надежды.
А. П<ушкин>

О, дайте мне кинжал и яд,
Мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
Мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь, как на позор —
Пора расстаться с своенравной
И произнесть ей приговор
Последний, страшный и бесславный!
Что в ней? Зачем я на земле
Влачу убийственное бремя?..
Скорей во прах!.. В холодной мгле
Покойно спит земное племя:
Ничто печальной тишины
Костей иссохших не тревожит,
И череп мертвой головы
Один лишь червь могильный гложет.
Безумство, страсти и тоска,
Любовь, отчаянье, надежды
И все, чем славились века,
Чем жили гении, невежды,—
Все праху, все заплатит дань,
До той поры, пока природа
В слух уничтоженного рода
Речет торжественно: «Восстань!»

<1836>

РУССКИЕ ПЕСНИ

I

Разлюби меня, покинь меня,
Доля, долюшка железная!
Опротивела мне жизнь моя,
Молодая, бесполезная!

Не припомню я счастливых дней —
Не знавал я их с младенчества!
Для измученной души моей
Нет в подсолнечной отечества!

Слышал я, что будто божий свет
Я увидел с тихим ропотом,
А потом житейских бурь и бед
Не избегнул горьким опытом.

Рано-рано ознакомился
Я на море с непогодою;
Поздно-поздно приготовился
В бой отчаянный с невзгодою!

Закатилася звезда моя,
Та ль звезда моя туманная,
Что следила завсегда меня,
Как невеста нежеланная!

Не ласкала, не лелеяла,
Как любовница заветная,
Только холодом обвеяла,
Как изменница всесветная!

<1836>

II

Долго ль будет вам без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди?
Долго ль будет вам увлаживать поля?
Осушится ль скоро мать-сыра-земля?
Тихий ветер свежий воздух растворит —
И в дуброве соловей заголосит.
И придет ко мне, мила и хороша,
Юный друг мой, красна-девица-душа.

Соловей мой, соловей,
Ты от бури и дождей,
Ты от пасмурных небес
Улетел в дремучий лес.
Ты не свищешь, не поешь —
Солнца ясного ты ждешь!

Дева-девица моя,
Ты от бури и дождя
И печальна и грустна,
В терему схоронена!
К другу милому нейдешь —
Солнца ясного ты ждешь!
Перестаньте же без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди!
Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть!
Дайте сердцу после горя отдохнуть!
Пусть, как прежде, и прекрасна и пышна,
Воцарится благотворная весна,
Разольется в звонкой песне соловей —
И я снова, сладострастней и звучней,
Расцелую очи девицы моей!

<1836>

КРАСНОЕ ЯЙЦО

А. П. Лозовскому

1

В те времена, когда вампир
Питался кровию моей,
Когда свобода, мой кумир,
Узнала ужасы цепей;
Когда, поверженный во мгле,
С клеймом проклятья на челе,
В последний раз на страшный бой,
На беспощадную борьбу,
Пылая местью роковой,
Я вызывал свою судьбу;
Когда, сурова и грозна,
Секиру тяжкую она
Уже подъяла надо мной —
И разлетелся бы мой щит,
Как вал девятый и седой,
Ударясь смело о гранит;
Когда в печальной тишине
Я лютой битвы ожидал,—
Тогда как вестник мира мне
Ты неожиданно предстал!
Мою бунтующую кровь
С умом мятежным помирил
И в душу мрачную любовь
К постыдной жизни водворил...
Так солнца ясного лицо
Рассеивает ночи тень,

Так узнику в великий день
Даруют красное яйцо!

2

Всему в природе есть закон:
Луна сменяется луной,
И годы мчит река времен
Невозвратимою волной!
Лучи обманчивых надежд
Еще горят во тьме ночей...
. . . .
. . . .
Моя судьба — то иногда
Мне улыбнется вдалеке,
То, как знакомая мечта,
Опять с секирою в руке
И опершись на эшафот,
Мне безотрадно предстает...
Тоска, отчаянье и грусть
Мрачат лазурный небосклон
Певца, который наизусть
Врагом и другом затвержен...
Безмолвен, мрачен и угрюм,
Я дань бесславию плачу
И, в вечном вихре черных дум,
Оковы тяжкие влачу!..

. . . .
Лишь ты один меня постиг...
Кому, скажи, как не тебе,
Знаком в убийственной судьбе
Прямой души моей язык?..
Не ты ль один моих страстей
Прочел заветную скрижаль

И разгадал, быть может, в ней
Туманной будущности даль?
Не ты ли дикий каземат
Преобразил, волшебник мой,
В цветник приятный и живой,
В весенний скромный вертоград?

3

И пронеслося много лет
С тех пор, когда явился ты,
Как животворный тихий свет
Ко мне, в обитель темноты...
И где воинственный Кавказ
С его суровой красотой,
Где я с унылою мечтой
Бродил, страдал, но не угас!
Где дни отрады, новых мук,
Страданий новых и разлук,
Минуты дружеских бесед,
Порывы бешеных страстей
И все и всё?.. Их больше нет,
Они лишь в памяти моей.
Но сам я здесь, опять с тобой,
С тобою, верный, милый друг,
Как гул протяжный, тихий звук
Иль эхо с арфой золотой!..

Апрель 1836
Москва

ОН И ОНА

Il lui dit une sottise —
elle lui répond par une autre.
N. M.[1]

Он

В последний раз, прекрасная, скажи:
Любим ли я хоть несколько тобою?

Она

О милый друг! мне суждено судьбою
Быть от тебя без сердца и души.

Он

Творец, я жив! — Но, ангел лучезарный,
Зачем же ты не хочешь доказать?..

Она

Моей любви? Злодей неблагодарный!
Давно бы мог об этом мне сказать!

Он

Иди за мной; в тени густой дубровы
Узнаешь ты миг счастья золотой!

Она

Иду, и знай: Лукреции суровой
Ты не найдешь во мне, Тарквиний молодой!

<1837>

[1] Он сказал ей глупость — она ему ответила другой. Н. М. *(франц.).— Ред.*

КАРТИНА

Chaque étoile à son tour vient apparaître au ciel.
H<ugo>[1]

Как ты божественно прекрасна,
О дева, рай моих очей!
Как ты без пламенных речей
Красноречиво сладострастна!
Для наслажденья и любви
Ты создана очарованьем;
Сама любовь своим дыханьем
Зажгла огонь в твоей крови!
Свежее розы благовонной
Уста румяные твои;
Лилейный пух твоей груди
Трепещет негой благосклонной!
И этой ножки белизна,
И эта темная волна
По лоску бархатного тела,
И этот стан зыбучий, смелый —
Соблазн и взора и руки —
Манят, и мучат, и терзают,
И безотрадно растравляют
Смертельный яд моей тоски!
Друзья мои! (Я своевольно
Хочу везде иметь друзей,
Хоть друг, предатель и злодей —

---

[1] Каждая звездочка в свою очередь показывается на небе. Г<юго> *(франц.).— Ред.*

Одно и то же! Очень больно,
Но так и быть!) Друзья мои!
Я вижу часто эту пери:
Она моя! замки и двери
Меня не разлучают с ней!..
И днем и позднею порою,
В кругу заветном и один
Любуюсь я, как властелин,
Ее волшебною красою!
Могу лобзать ее всегда
В чело, и в очи, и в уста
И тайны грации стыдливой
Ласкать рукою прихотливой.
«Счастливец!»— скажете вы мне.
Напрасно... Все мое блаженство,
Все милой девы совершенство
И вся она — *на полотне!*

<1837>

ТЮРЬМА

«Воды, воды!..» Но я напрасно
Страдальцу воду подавал...
А. П<ушкин>

1

За решеткою, в четырех стенах,
Думу мрачную и любимую
Вспомнил молодец, и в таких словах
Выражал он грусть нестерпимую:

2

«Ох ты, жизнь моя молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегаешь ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменно̀й Москвы!

3

Для кого же, недоброхотная,
Против воли я часто ратовал,
Иль, красавица беззаботная,
День обманчивый тебя радовал?

4

Кто видал, когда на лихом коне
Проносился я степью знойною?
Как сдружился я, при седой луне,
С смертью раннею, беспокойною?

5

Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу,
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну-девицу?

6

Штофы, бархаты, ткани цветные
Саблей острою ей отмеривал
И заморские вина светлые
В чашах недругов после пенивал?

7

Знали все меня — знал и стар и млад,
И широкий дол, и дремучий лес...
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук желез...

8

Воля-волюшка драгоценная!
Появись ты мне, несчастливому,
Благотворная, обновленная —
Не отдай судье нечестивому!..»

9

Так он, молодец, в четырех стенах,
Страже передал мысль любимую;
Излилась она, замерла в устах —
И кто понял грусть нестерпимую?..

<1837>

ОСУЖДЕННЫЙ

Нас было двое — брат и я...
А. П<ушкин>

1

Я осужден! К позорной казни
Меня закон приговорил!
Но я печальный мрак могил
На плахе встречу без боязни,
Окончу дни мои, как жил.

2

К чему раскаянье и слезы
Перед бесчувственной толпой,
Когда назначено судьбой
Мне слышать вопли и угрозы
И гул проклятий за собой?

3

Давно душой моей мятежной
Какой-то демон овладел,
И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел...

4

Не розы светлого Пафоса,
Не ласки гурий в тишине,

Не искры яхонта в вине,—
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

5

Меня постигла дума эта
И ознакомилась со мной,
Как холод с южною весной,
Или фантазия поэта
С унылой северной луной.

6

Мои утраченные годы
Текли, как бурные ручьи,
Которых мутные струи
Не серебрят, а пенят воды
На лоне илистой земли.

7

Они рвались, они бежали
К неверной цели без препон;
Но быстрый бег остановлен,
И мне размах холодной стали
Готовит праведный закон.

8

Взойдет она, взойдет, как прежде,
Заутра ранняя звезда,
Проснется неба красота,—
Но я, я небу и надежде
Скажу: «Простите навсегда!»

9

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;

10

Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен,
Где я страстями заклеймен,
Где чем-то свыше, поневоле
Я был на время заключен;

11

Где я... Но что?.. Толпа народа
Уже кипит на площади...
Я слышу: «Узник, выходи!»
Готов — иду!.. Прости, природа!
Палач, на казнь меня веди!..

<1837>

ИЗ VIII ГЛАВЫ ИОАННА

<(Грешница)>

И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья.
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья:
Скажи нам мнение свое!»

И на лукавое воззванье
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил!

И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить древний ваш закон;
Но где тот праведник, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»

И вновь писал он на земле...
Тогда, с печатью поношенья
На обесславленном челе,
Сокрылись дети ухищренья,
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена!

И он, с улыбкой благотворной,
Сказал: «Покинь твою боязнь!

Где обвинитель твой упорный?
Кто осудил тебя на казнь?»

Она в ответ: «Никто, учитель!» —
«Итак, и я твоей души
Не осужу,— сказал Спаситель,—
Иди в свой дом и не греши!»

<1837>

ГЛАЗА

Je croie parceque je croie!
V[1]

Нелепин верит — и всему,
И без понятия, и слепо;
Недум, не веря ничему,
Опровергает все нелепо.
Скажите первому шутя,
Что муха нос ему откусит,—
При этой новости он струсит
И вам поверит, как дитя.
Потом спросите вы Недума:
Счастлив ли он своей женой
И не скрывает ли без шума
Ее фантазий, как другой?
Он вам ответит: «О, напрасно!
Я ею счастлив и богат!»
А между тем давно уж гласно,
Что он невыгодно женат...
Противоречие во мненьях —
Оригинальный их девиз.
И то же самое в явленьях
Большого света и кулис:
Один живет слепою верой
В чужие мысли и дела;
Другой скептическою мерой
Определяет цену зла.
И тот и этот без ошибки
Судить готовы обо всем —

[1] Я верю, потому что верю! В. *(франц.)*.— *Ред.*

И, кроме жалостной улыбки
Над их мечтательным умом,
Они всё видят и покойны...
Так путник в жаркий летний день
Встречает ключ в пустыне знойной
И пальмы сладостную тень.
И кто узнал, где наш Иуда?
Когда обрушится, откуда
Неизбежимая гроза?
А для того иметь не худо
Свои хоть слабые глаза...

<1837>

ГРУСТЬ

На пиру у жизни шумной,
В царстве юной красоты
Рвал я с жадностью безумной
Благовонные цветы.
Много чувства, много жизни
Я роскошно потерял,
И душевной укоризны,
Может быть, не избежал.
Отчего ж не с сожаленьем,
Отчего — скажите мне,—
Но с невольным восхищеньем
Вспомнил я о старине?
Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной,
День и ночь, как дух упорный,
Все мелькает предо мной?
Отчего, как в полдень ясный
Голубые небеса,
Мне таинственно прекрасны
Эти черные глаза?
Почему же голос сладкой,
Этот голос неземной,
Льется в душу мне украдкой
Гармонической волной?
Что тревожит дух унылый,
Манит к счастию меня?
Ах, не вспыхнет над могилой
Искра прежнего огня!

Отлетели заблуждений
Невозвратные рои —
И я мертв для наслаждений,
И угас я для любви!
Сердце ищет, сердце просит
После бури уголка;
Но мольбы его разносит
Безотрадная тоска!

<1837>

ЭНДИМИОН

Dors, cette nuit encore, d'un sommeil pur et doux.
V. H<ugo>[1]

Ты спал, о юноша, ты спал,
Когда она, богиня скал,
Лесов и неги молчаливой,
Томясь любовью боязливой,
К тебе, прекрасна и светла,
С Олимпа мрачного сошла;
Когда она, никем не зрима,
Тиха, безмолвна, недвижима,
Она стояла пред тобой,
Как цвет над урной гробовой;
Когда, без тайного укора,
Она внимательного взора
С тебя, как чистого стекла,
Свести, красавец, не могла —
И сладость робких ожиданий
И пламень девственных желаний
Дышали жизнью бытия
В груди божественной ея!
Ты спал... Но страстное лобзанье
Прервало сна очарованье.
Ты очи черные открыл —
И юный, смелый, полный сил,
Под тенью миртового леса,

---

[1] Спи еще эту ночь сном чистым и сладким. В. Г<юго> *(франц.).— Ред.*

Пред юной дщерию Зевеса
Склонил колено и чело!..
Счастливый юноша! Светло!
Редеет ночь, алеет небо!
Смотри: предшественница Феба
Открыла розовым перстом
Врата на своде голубом!
Смотри!.. Но бледная Диана
В прозрачном облаке тумана,
Без лучезарного венца
Уже спешит в чертог отца,
И снова ждет в тоске ревнивой
Покрова ночи молчаливой!

<1837>

ВЕНОК НА ГРОБ ПУШКИНА

Oh, qu'il est saint et pur le transport du poète,
Quand il voit en espoire, bravant la morte muette,
Du voyage de temps sa gloire revenir!
Sur les âges futurs, de sa hauteure sublime,
Il se penche, écoutant son lointain souvenir;
Et son nom, comme un poids jeté dans un abime,
Eveille mille échos au fond de l'avenir!

V. Hugo[1]

I

Эпоха! Год неблагодарный!
Россия, плачь! Лишилась ты
Одной прекрасной, лучезарной,
Одной брильянтовой звезды!
На торжестве великом жизни
Угас для мира и отчизны
Царь сладких песен, гений лир!
С лица земли, шумя крылами,
Сошел, увенчанный цветами,
Народной гордости кумир!
И поэтические вежды
Сомкнула грозная стрела,

---

[1] О, как свят и чист восторг поэта,
Когда видит он в грезах своих, презирая немую смерть,
Как растет его слава в потоке времени!
Внимая своему прошлому, он склоняется
С величественных высот своих над грядущими веками;
И имя его, как некая тяжесть, брошенная в пропасть,
Пробуждает тысячекратное эхо в глубине будущего.

В. Гюго *(франц.)*.— *Ред.*

Тогда как светлые надежды
Вились вокруг его чела!
Когда рука его сулила
Нам тьму надежд, тогда сразила
Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...
О, плачь, Россия, долго плачь!
Давно ль тебя из недр пустыни полудикой
Возвел для бытия и славы Петр Великой,
Как деву робкую на трон!
Давно ли озарил лучами просвещенья
С улыбкою отца, любви и ободренья
Твой полунощный небосклон.
Под знаменем наук, под знаменем свободы
Он новые создал великие народы;
Их в ризы новые облек;
И ярко засиял над царскими орлами,
Прикрытыми всегда победными громами,
Младой поэзии венок.
Услыша зов Петра, торжественный и громкий,
Возникли: старина, грядущие потомки,
И Кантемир и Феофан;
И, наконец, во дни величия и мира
Возникла и твоя божественная лира,
Наш Холмогорский великан!
И что за лира: жизнь! Ее златые струны
Воспоминали вдруг и битвы и Перуны
Стократ великого царя,
И кроткие твои дела, Елисавета,
И пели все они в услышание света
Под смелой дланью рыбаря!
Открылась для ума неведомая сфера;
В младенческих душах зиждительная вера

Во все прекрасное зажглась;
И счастия заря роскошно и приветно
До скал и до степей Сибири многоцветной
От вод балтийских разлилась!
Посеяли тогда изящные искусства
В груди богатырей возвышенные чувства;
Окреп полмира властелин,
И обрекли его, в воинственной державе,
Бессмертию веков, незакатимой славе
Петров, Державин, Карамзин!

II

Потом, когда неодолимый
Сын революцьи, Бонапарт,
Вознес рукой непобедимой
Трехцветный Франции штандарт;
Когда под сень его эгиды
Склонились робко пирамиды
И Рима купол золотой;
Когда смущенная Европа
В волнах кровавого потопа
Страдала под его пятой;
Когда отважный, вне законов,
Как повелительное зло,
Он диадимою Бурбонов
Украсил дерзкое чело;
Когда, летая над землею,
Его орлы, как будто мглою,
Мрачили день и небеса;
Когда муж пагубы и рока
Устами грозного пророка
Вещал вселенной чудеса;
Когда воинственные хоры
И гимны звучные певцов

Ему читали приговоры
И одобрения веков;
И в этом гуле осуждений,
Хулы, вражды, благословений
Гремел, гремел, как дикий стон,
Неукротимый и избранный,
Под небом Англии туманной
Твой дивный голос, о Байрон!—
Тогда, тогда в садах Лицея,
Природный русский соловей,
Весенней жизнью пламенея,
Расцвел наш юный корифей;
И гармонические звуки
Его младенческие руки
Умели рано исторгать.
Шутя пером, играя с лирой,
Он Оссиановой порфирой
Хотел, казалось, обладать.
Он рос, как пальма молодая
На иорданских берегах,
Главу высокую скрывая
В ему знакомых облаках;
И, друг волшебных сновидений,
Он понял тайну вдохновений,
Глагол всевышнего постиг;
Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик —
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык!

III

И стал он петь, и все вокруг него внимало;
Из радужных цветов вручил он покрывало
Своей поэзии нагой.

Невинна и смела, божественная дева
Отважному ему позволила без гнева
Ласкать, обвить себя рукой;
И странствовала с ним, как верная подруга,
По лаковым парке́ блистательного круга
Временщиков, князей, вельмож;
Входила в кабинет ученых и артистов
И в залы, где шумят собрания софистов,
Меняя истину на ложь;
Смягчала иногда, как гений лучезарный,
Гонения судьбы то славной, то коварной;
Была в тоске и на пирах,
И вместе пронеслась, как буйная зараза,
Над грозной высотой мятежного Кавказа
И Бессарабии в степях.
И никогда нигде его не покидала;
Как милое дитя, задумчиво играла
Или волной его кудрей,
Иль бледное чело, объятое мечтами,
Любила украшать небрежными перстами
Венков из лавров и лилей.
И были времена: унылый и печальный,
Прощался иногда он с музой гениальной,
Искал покоя, тишины;
Но и тогда, как дух, приникнув к изголовью,
Она его душе с небесною любовью
Дарила праведников сны.
Когда же утомясь минутным упоеньем,
Всегдашним торжеством, высоким наслажденьем,
Всегда юна, всегда светла,
Красавица земли, она смыкала очи,
То было на цветах, а их во мраке ночи
Для ней рука его рвала.

И в эти времена всеведущая Клио
Являлась своему любимцу горделиво,
С скрижалью тайною веков;
И пел великий муж великие победы,
И громко вызывал, о праотцы и деды,
Он ваши тени из гробов!

IV

Где же ты, поэт народный,
Величавый, благородный,
Как широкий океан;
И могучий и свободный,
Как суровый ураган?
Отчего же голос звучный,
Голос, с славой неразлучный,
Своенравный и живой
Уж не царствует над скучной,
Полумертвою душой,
Не владеет нашей думой,
То отрадной, то угрюмой,
По внушенью твоему?
Не всегда ли безотчетно,
Добровольно и охотно
Покорялись мы ему?
О так, о так, певец Людмилы и Руслана,
Единственный певец волшебного фонтана,
Земфиры, невских берегов,
Певец любви, тоски, страданий неизбежных,
Ты мчал нас, уносил по лону вод мятежных
Твоих пленительных стихов;
Как будто усыплял их ропот грациозный,
Как будто наполнял мечтой религиозной
Давно почивших мертвецов.

И долго, превратясь в безмолвное вниманье,
Прислушивались мы, когда их рокотанье
Умолкнет с отзывом громов.
Мы слушали, томясь приятным ожиданьем,—
И вдруг, поражена невольным содроганьем,
Россия мрачная, в слезах,
Высоко над главой Поэзии печальной
Возносит не венок, но факел погребальный,
И Пушкин — труп, и Пушкин — прах!
Он — прах! Довольно! Прах, и прах непробудимый!
Угас, и навсегда, мильонами любимый,
Державы северной Баян!
Он новые приял, нетленные одежды
И к небу воспарил под радугой надежды,
Рассея вечности туман!

V

ГИМН СМЕРТИ

Совершилось: дивный гений,
Совершилось: славный муж
Незабвенных песнопений
Отлетел в страну видений,
С лона жизни в царство душ!
Пир унылый и последний
Он окончил на земле;
Но, бесчувственный и бледный,
Носит он венок победный
На возвышенном челе.
О, взгляните, как свободно
Это гордое чело!
Как оно в толпе народной
Величаво, благородно,

Будто жизнью расцвело!
Если гибельным размахом
Беспощадная коса
Незнакомого со страхом
Уравнять умела с прахом,
То узрел он небеса!
Там под сению святого,
Милосердного творца
Без печального покрова
Встретят жителя земного,
Знаменитого певца.
И благое провиденье
Слово мира изречет,
И небесное прощенье,
Как земли благословенье,
На главу его сойдет...
Тогда, как дух бесплотный, величавый,
Он будет жить бессумрачною славой,
Увидит яркий, светлый день;
И пробежит неугасимым оком
Мильон миров, в покое их глубоком,
Его торжественная тень;
И окружит ее над облаками
Теней, давно прославленных веками,
Необозримый легион:
Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни...
И руку ей с улыбкою приязни
Подаст задумчивый Байрон;
И между тем, когда в России изумленной
Оплакали тебя и старец и младой,
И совершили долг последний и священный,
Предав тебя земле холодной и немой,
И, бледная, в слезах, в печали безотрадной,
Поэзия грустит над урною твоей,—

Неведомый поэт, но юный, славы жадный,
О Пушкин! преклонил колено перед ней.
Душистые венки великие поэты
Готовят дня нее — второй Анакреон;
Но верю я: и мой в волнах суровой Леты
С рождением своим не будет поглощен —
На пепле золотом угаснувшей планеты
Несмелою рукой он с чувством положен.

Утешение

«Над лирою твоей разбитою, но славной
Зажглася и горит прекрасная заря!
Она облечена порфирою державной
Великодушного царя».

Январь — 3 марта 1837

<ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛОЗОВСКОМУ>

Вот тебе, Александр, живая картина моего настоящего положения:

. . . .
. . . .
. . . .

Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился с чахоткой,
И в ней, как кажется, сгнию!
Тяжелой мраморною плитой,
Со всей анафемскою свитой —
Удушьем, кашлем — как змея,
Впилась, проклятая, в меня;
Лежит на сердце, мучит, гложет
Поэта в мрачной тишине
И злым предчувствием тревожит
Его в бреду и в тяжком сне.
Ужель, ужель — он мыслит грустно —
Я подвиг жизни совершил
И юных дней фиал безвкусный,
Но долго памятный, разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл?
Тогда — вдали от глаз невежды
Или фанатика-глупца —
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца,

И счастлив был! Самозабвенье
Плодило лестные мечты,
И светлых мыслей вдохновенье
Таилось в бездне пустоты.
С уничтожением рассудка,
В нелепом вихре бытия
Законов мозга и желудка
Не различал во мраке я.
Я спал душой изнеможенной,
Никто мне бед не предрекал,
И сам, как раб, ума лишенный,
Точил на грудь свою кинжал;
Потом проснулся... но уж поздно...
Заря по тучам разлилась —
Завеса будущности грозной
Передо мной разодралась...
И что ж? Чахотка роковая
В глаза мне пристально глядит,
И, бледный лик свой искажая,
Мне, слышу, хрипло говорит:
«Мой милый друг, бутыльным звоном
Ты звал давно меня к себе;
Итак, являюсь я с поклоном —
Дай уголок твоей рабе!
Мы заживем, поверь, не скучно:
Ты будешь кашлять и стонать,
А я всегда и безотлучно
Тебя готова утешать...»

Декабрь 1837

К МОЕМУ ГЕНИЮ

Ужель, мой гений быстролетный,
Ужель и ты мне изменил,
И думой черной, безотчетной,
Как тучей, сердце омрачил?
Погасла яркая лампада —
Заветный спутник прежних лет,
Моя последняя отрада
Под свистом бурь, на море бед...
Давно челнок мой одинокой
Скользит по яростной волне,
И я не вижу в тьме глубокой
Звезды приветной в вышине;
Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов...
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: «Воскресни и живи!»
Я оживал... Но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня — и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...

Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок —
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует,
Над бедным плавателем рок.
Явись же, гений прихотливый!
Явись опять передо мной
И проведи меня счастливо
К стране, знакомой с тишиной!

ТОСКА

Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений,
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и мильонам творений.
Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой —
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;
Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатленье,
Одно ненавистное — холод к земле
И горькое к жизни презренье.
Блестящее солнце в огнистых лучах
И неба роскошного своды
Теряют в то время сиянье в очах
Несчастного сына природы;
Тоска роковая, убийца-тоска
Над ним тяготеет, как мрамор могилы,
И губит холодная смерти рука
Души изнуренные силы.
Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души?
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком чистом поле,
Пышным цветом расцвести?

. . . .

. . . .

ЭРПЕЛИ <главы из поэмы>

(Воинам Кавказа)

Глава I

Едва под Грозною[1] возник
Эфирный город из палаток
И раздался приветный крик
Учтивых егерских солдаток:
«Вот булки, булки, господа!»
И, чистя ружья на просторе,
Богатыри, забывши горе,
К ним набежали, как вода;
Едва иные на форштадте
Найти успели земляков
И за беседою о свате
Иль о семействе кумовьев,
В сердечном русском восхищенье
И обоюдном поздравленье
Вкусили счастие сполна
За квартой красного вина;
Едва зацарствовала дружба,—
Как вдруг, о тягостная служба!
Приказ по лагерю идет:
Сейчас готовиться в поход.
Как вражья пуля, пролетела
Сия убийственная весть,
И с ленью сильно зашумела
На миг воинственная честь.
«Увы!— твердила лень солдатам,—
И отдохнуть вам не дано;

[1] Крепость.

Вам, точно грешникам проклятым,
Всегда быть в муке суждено!
Давно ль явились из похода —
И снова, батюшки, в поход!
Начальство только для народа
Смышляет труд да перевод.
Пожить бы вам, хотя немного,
Под Грозной крепостью, друзья!
Нет, нет, у Розена ни бога,
Ни милосердья, ни меня!
Пойдете вы шататься в горы;
Чеченцы — бестии и воры —
Уморят вас без сухарей;
Спросите здешних егерей!..» —
«Молчать, негодная разиня! —
В ответ презрительно ей честь. —
Я — сердца русского богиня
И подавлю пятою лесть.
Ужель вы, братцы, из отчизны
Сюда спешили для того,
Чтоб после слышать укоризны
От сослуживца своего:
«Они-де там не воевали,
А только спали на печи,
В станицах с девками играли,
Да в селах ели калачи!»
(Не воевали мы, бесспорно —
Есть время спать и воевать).
«Вам был знаком лишь ветер горный,
Теперь пора и горы знать;
Вы целый год здесь ели дули,
Арбузы, тёрн и виноград;
Теперь — прошу — отведай пули,
Кто духом истинный солдат!

Винить начальство грех и глупо:
Оно, ей-ей, умнее нас
И без причины вместо супа
В котлы не льет гусиный квас.
Идите в горы, будьте рады,
Пора патроны расстрелять,
За храбрость лестные награды
Сочтут за долг вам воздавать;
А егерям прошу не верить,
Хоть лень сослалась на их гурт;
Они привыкли землемерить
Одну дорогу в Старый Юрт»[1].
Так честь солдатам говорила,
Паря над лагерем полка,
И лень печально и уныло
Ушла, вздохнув издалека.
Внезапно ожили солдаты;
Везде твердят: «В поход, в поход!»
Готовы. «Здравствуйте, ребята!»—
«Желаем здравия!»—И вот
Выходят роты. Солнце блещет
На грани ружей и штыков;
Крест на́ грудь — и как море плещет
В рядах походный гул шагов.
Вот Розен!.. Как глава от тела,
Он от дружин не отделен;
Его присутствием несмелый
Казак и воин оживлен!
Его сребристые седины
Приятны старым усачам:

[1] Старый Юрт — маленькая крепость, в восемнадцати верстах от Грозной. Возле самой крепости протекают между гор ручьи горячих минеральных вод.

Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они, под русскими орлами,
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны,
Или, к бессмертью на пути,
Могилу славную найти
Для вечной и бессмертной тризны!
Так прежде сам он был знаком
Седым служителям Беллоны;
Свои надежды, обороны
Они вторично видят в нем.
И полк устроенной громадой
По полю чистому валит,
И ветер свежею отрадой
Здоровых путников дарит.
Все живо: здесь неугомонный
Гремит по воле барабан;
Там хоры песни монотонной
«Пал на сине море туман!»
Здесь «Здравствуй, милая», с скачками
Передового плясуна;
Веселый смех между рядами
И без запрету тишина.
Глубокомыслящие Канты
И на черкесских жеребцах
В доспехах горских адъютанты,
Крутя столбом летучий прах,
Сверкают, бьются пред глазами.
День вечереет; за горой

С полублестящими лучами
Исчез бог света золотой.
Луна серебряной лампадой
Виднеет в небе голубом;
Заря вечерняя прохладой
Приятно веет над полком.
Вперед, вперед! еще немного —
Близка до станции дорога!
Вот ручеек горячих вод...
Отбой!.. Окончен переход!..

Глава VIII

«Ну-ну, рассказчик наш забавный,—
Твердят мне десять голосов,—
Поведай нам о битве славной
Твоих героев и врагов!
Как ваше дело, под горою?»—
«Готов! согласен я, пора!
Итак, торжественно со мною
Кричите, милые: ура!»—
«Ба! и сраженье и победа,
Как после сытного обеда
Десерт и кофе у друзей!
Так скоро?»—«Ровно в десять дней
Покорность, мир и аманаты —
И снова в Грозную поход!»—
«Какой решительный расчет,
Какие русские солдаты!
Но как, и что, и почему?»
Вот объяснение всему:
Койсубулинская гордыня
Гремела дерзко по горам;
Когда ж доступна стала нам
Их недоступная твердыня
Посредством пушек и дорог
(Чего всегда избави бог),
Когда злодеи ежедневно,
Как стаи лютые волков,
На нас смотрели очень гневно
Из-за утесов и кустов,
А мы, бестрепетною стражей,
Меж тем работы берегли

И, приучаясь к пуле вражьей,
Помалу вверх покойно шли,
И скоро блоки и машины
Готовы были навестить
Их безобразные вершины,
Чтоб бомбой пропасть осветить,—
Тогда военную кичливость
У них рассудок усмирил
И непробудную сонливость
Бессонный ужас заменил.
Сначала бодрые джигиты,
Алкая стычек и борьбы,
Они для варварской пальбы
Из-под разбойничьей защиты
Приготовляли по ночам
Плетни с землею пополам,
Дерев огромные обломки,
И, давши залп оттуда громкий,
Смеялись нагло русакам,
Стращали издали ножами
С приветом: «яур» и «яман»—
И исчезали, как туман,
За неизвестными холмами;
Но после, видя жалкий бред
В своем бессмысленном расчете,
Они от явных зол и бед
Все были в тягостной заботе,
Едва зари вечерней тень
Прогонит с гор веселый день
И ляжет сумрак над полями —
Никем не зримыми толпами
В ночном безмолвии они
Разводят яркие огни,
Сидят уныло над скалами

И озирают русский стан,
Который, грозный, величавый
И озарен луной кровавой,
Лежит, как белый великан.
С рассветом дня опять в движеньи
Неугомонная орда:
Отрядов сменных суета
И новых пушек появленье
Своей обычной чередой —
Все угрожает им бедой,
Неотразимою осадой.
Невольный страх сковал умы
Детей отчаянья и тьмы
За их надежною оградой...
И близок час, готов удар!
Кипит в солдатах бранный жар!
Полки волнуются, как море!
Последний день... и горе, горе!..
Но вот внезапно мирный флаг
Мелькнул среди ущелий горных;
Вот ближе к нам — и гордый враг,
С смиреньем данников покорных,
Идет рассеять русский гром,
Прося с потупленным челом
Статей пощады договорных..
Статьи готовы, скреплены...
Народов диких старшины
Решают участь поколений.
Восходит светлая заря...
В параде ратные дружины:
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!
Присяга нового владенья —
И взорам тысячей предстал

Победоносный генерал
Без битв и крови ополченья!..
Цветут равнины Эрпелй,
Покой и мир в аулах бранных;
Не видят более они
Штыков отряда троегранных,
В своих утесах вековых
Не слышат пушек вестовых!
Громада зыбкая тумана,
Молчанье, сон и пустота
Объемлют дикие места
Надолго памятного стана,
И стан под Грозною стоит...
Но дума, дума о прошедшем
Невольно сердце шевелит;
В бреду поэта сумасшедшем
Я дни минувшие ловлю
И, угрожаемый холерой,
Себя мечтательною верой
Питать о будущем люблю.
Поклонник муз самолюбивый,
Я вижу смерть невдалеке;
Но все перо в моей руке
Рисует план свой прихотливый.
Сойдя к отцам вослед других,
Остаться в памяти иных!
Быть может, завтра или ныне,
Не испытав черкесских пуль,
Меня в мучной уложат куль
И предадут земной пустыне...
В глухой, далекой стороне
От милых сердцу я увяну...
В угодность злобному тирану,
Моей враждующей судьбе!

Увидя мой покров рогожный,
Никто ни истинно, ни ложно
Не пожалеет обо мне.
Возьмут, кому угодно будет,
Мои чевяки и бешмет
(Весь мой багаж и туалет) —
И всякий важно позабудет,
Кто был их прежний господин...
А панихиды, сорочин,
Кутьи и прочих поминаний
Хоть и не жди!.. Вот мой удел!
Его без дальних предсказаний
Я очень ясно усмотрел...
Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..
Найдут в углу моей палатки
Мои несчастные тетрадки,
Клочки, четвертки и листы,
Души тоскующей мечты
И первой юности проказы...
Сперва, как должно от заразы,
Их осторожно окурят,
Прочтут строк десять втихомолку
И, по обычаю, на полку
К другим писцам переселят...
А вы, надежды, упованья
Честолюбивого созданья,
Назло холере и судьбе,—
Вы не погибнете с страдальцем:
Увидит чтец иной под пальцем
В моих тетрадках А и П,
Попросит ласковых хозяев

Значенье литер пояснить —
И мне ль бессмертному не быть? —
Ему ответят: «*Полежаев...*»
Прибавят, может быть, что он
Был добрым сердцем одарен,
Умом довольно своенравным,
Страстями; жребием бесславным
Укор и жалость заслужил;
Во цвете лет — без жизни жил,
Без смерти умер в белом свете...
Вот память добрых о поэте!

1830

ПРИМЕЧАНИЯ

Текст печатается по изданию: А. И. П о л е ж а е в. Стихотворения и поэмы. Л., Сов. писатель, 1957. (Б-ка поэта. Большая серия. 2-е изд.).

Стихотворения даются в хронологическом порядке. Годы, не позднее которых написаны отдельные произведения, а также даты первой прижизненной публикации в тех случаях, когда время написания с точностью не установлено, заключены в угловые скобки. Стихотворения «К моему гению» и «Тоска» помещаются без дат, поскольку время их написания неизвестно. Слова в тексте, зашифрованные Полежаевым, заключены в угловые скобки. Неоговоренные сноски к тексту принадлежат Полежаеву. Примечания В. В. Баранова к стихотворениям даются (с сокращениями) по изданию: А. И. П о л е ж а е в. Стихотворения и поэмы. Л., Сов. писатель, 1957.

Непостоянство (с. 15). Впервые — «Вестник Европы», 1825.

Любовь (с. 16). Впервые — «Вестник Европы», 1826. Положено на музыку композитором П. Сокальским.

Новая беда (с. 18). Впервые — «Русская старина», 1871, под заглавием «Послание к поповнам» и без указания автора. Печатается по изданию 1933 г., где оно опубликовано по списку, сохранившемуся среди бумаг Ф. А. Кони и имеющему подпись: «А. Полежаев». Стихотворение является откликом на переполох в среде духовенства, вызванный проектом указа Александра I, запрещавшего лицам духовного звания и членам их семей носить светские одежды. *Блонды* — род кружев. *Фотий* (1792—1838) — архимандрит, ханжа-реакционер. В последние годы жизни Александра I имел на него сильное влияние. *Флавий* Иосиф — римский историк I в. н. э., автор книги «Древности иудейские». *Шаликов* Петр Иванович, князь (1768 — 1852) — московский литератор-карамзинист и издатель журналов и газет. Слащавый тон и курьезность суждений Шаликова сделали из него всеобщую мишень для эпиграмм и анекдотов.

Ночь (с. 21). Впервые — «Вестник Европы», 1826.

Погребение (с. 23). Впервые — изд. 1832 г.

Четыре нации (с. 25). Впервые, без четвертой строфы,— «Библиографические записки», 1859. Со строфой, посвященной России, впервые опубликовано в сб. «Русская потаенная литература XIX века. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева. Лондон. 1861». Стихотворение имело распространение в списках как при жизни Полежаева, так и в более поздние времена, причем оно в ряде случаев приписывалось Пушкину. По преданию, сохранившемуся в роду Струйских, стихотворение было написано Полежаевым в 1827 г. во время кратковременного посещения родных мест и имело название «Четыре народа».

Вечерняя заря (с. 28). Впервые — «Галатея», 1829, под названием «Вечер».

Цепи (с. 31). Впервые — альм. «Северное сияние». М., 1831, под названием «Глас несчастливца».

Рок (с. 33). Впервые — изд. 1832 г. *Али Янинский* (1741 — 1822) — албанский паша, наместник Албании, добившийся почти полной самостоятельности в управлении страной, бывшей под властью турецкого султана. Погиб от рук солдат султана Махмуда. В России были известны переводы двух книг об Али Паше Янинском — Пукевиля (1822) и Дешаплета (1824). *Фирман* — указ турецкого султана. *Крез* — полулегендарный последний Лидийский царь (560—548 гг. до н. э.), известный своим баснословным богатством. *Кир* — основатель древнего Персидского царства, завоеватель Мидии, Лидии и Вавилона. Как сообщает Ксенофонт, Кир был настигнут смертью в постели, что имеет в виду Полежаев («И Кир, уснув на лоне нег»). *Народный гладиатор* — по-видимому, Спартак.

Валтасар (с. 35). Впервые — «Галатея», 1829, одновременно — «Московский телеграф». В «Московском телеграфе» стихотворению был дан заголовок «Видение Валтасара (подражание Байрону)». Этим была положена традиция считать его подражанием байроновскому стихотворению «Видение Валтасара» (из «Еврейских мелодий»). Изучение этого вопроса привело, однако, к выводу о полной самостоятельности стихотворения Полежаева. Несомненно, что внимание к этому библейскому сюжету пробудили у Полежаева события августа — сентября 1826 г. в Москве, когда вся официальная «первопрестольная» готовилась к торжествам по случаю коронации Николая I. Именно в это время происходит «полежаевская история», резко усилившая в мировоззрении поэта антицаристские настроения, отразившиеся в ряде стихотворений.

Песнь пленного ирокезца (с. 37). Впервые — «Галатея», 1829. Из-

вестны музыкальные обработки этого стихотворения Н. П. Огаревым, а также И. М. Рачинским и А. С. Размадзе. Аллегорическая форма этого произведения подсказана поэту сведениями об ирокезах и обычае мщения и истязания пленных у них, содержащимися в книге аббата де-Ла Порта («Всемирный путешественник, или Познание Старого и Нового света..., изданное господином аббатом де-Ла Порт, а на российский язык переведено с французского», т. 8. Спб., 1816, с. 24—25). *Ирокезцы* (ирокезы) — группа индейских племен, населявших некогда северо-восточную часть Северной Америки. Во время ее колонизации европейцами ирокезы почти полностью были истреблены.

Живой мертвец (с. 39). Впервые — «Галатея», 1830.

«Притеснил мою свободу...» (с. 41). Впервые — «Звезда», 1930. Стихотворение является откликом Полежаева на столкновение с фельдфебелем, в результате которого поэт оказался в длительном заключении. В автобиографической тетрадке, подаренной поэтом А. П. Лозовскому, стихотворение находится в окружении произведений 1835 г., что давало повод датировать его этим годом. Однако следует считать, что стихотворение было лишь записано в 1835 г., поэтому в настоящем издании принимается как единственно правильная дата, связывающая это стихотворение с известным в биографии Полежаева эпизодом 1828 г.

Александру Петровичу Лозовскому (с. 42). Публиковалось в отрывках под разными заголовками начиная с 1829 г. в «Галатее», 1829—1830 гг., и других периодических изданиях, а также в ряде посмертных изданий Полежаева. Впервые в более полном виде, под заглавием «Арестант»,— в сб. «Русская потаенная литература» и в первом биографическом очерке о Полежаеве, принадлежащем Д. Д. Рябинину («Русский архив», 1881, под названием «Спасские казармы»). Наиболее полная редакция этого произведения была впервые дана в изд. 1933 г. *Лозовский Александр Петрович* (1809 — год смерти неизв.) — ближайший друг Полежаева, горячие дружеские чувства к которому постоянны в творчестве поэта с 1828 г. и буквально до последних дней Полежаева. Лозовский был издателем почти всех прижизненных изданий стихотворений Полежаева, его литературным душеприказчиком. *Аббадона* — образ падшего ангела, печального духа в поэме Клопштока «Мессиада». *Уриил* — имя одного из серафимов в той же поэме. *Дриады* — богини, покровительницы деревьев в античной мифологии. *Броня сермяжная* — солдатская шинель. *Вал Земляной* — улица и прилегающий к ней район на линии Садового кольца в Москве, где находились Спасские казармы. Рядом со Спасскими казармами помещался учрежденный в начале XIX в.

странноприимный дом графа Шереметева, в котором содержались «немощные и бедные». *Лежит вербованный поэт* — имеется в виду вербовка, т. е. наем в солдаты. *Штыком рожденный для штыка* — по-видимому, Полежаев намекает на то, что его подлинный отец, Л. Н. Струйский, служил в гвардии и был уволен в отставку подпрапорщиком («штык-юнкером»). *Быть по сему* — обычная форма царской утверждающей резолюции (конфирмации). *Ленотр* Андрэ (1613—1700) — французский садовый архитектор, планировавший Версальский и другие парижские парки. *Молох* (или Ваал) — финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Обреченные люди сжигались в огромном зеве каменного идола этого божества. *Покал* — бокал (от латинского poculum). *Немврод*, или Нимврод — библейское имя легендарного основателя Вавилонского и Ассирийского царств. Наделенный особой силой, он стал не только ловким охотником-звероловом, но употреблял свою силу и к порабощению людей. Ему приписывалось учреждение против воли бога царства, основанного на силе, и построение так называемой Вавилонской башни. *Система звезд, прыжок сверчка*... Здесь Полежаев обнаруживает знакомство с философскими сочинениями Поля Гольбаха. Главка, начинающаяся этим стихом, содержит в сжатой форме аргументы известного в философской литературе возражения атеиста Гольбаха теологу Мальбраншу о противоречии идеи божества понятию о свободе воли человека (см. П о л ь Г о л ь б а х. Система природы. М., 1940, с. 292—293). *Струйский* — здесь Полежаев обращается не к отцу, а к своему дяде Александру Николаевичу, по отношению к которому он испытывал чувство раскаяния.

Кремлевский сад (с. 55). Впервые — «Галатея», 1829. *Кремлевский* (или Александровский) *сад* в Москве — парк, созданный вдоль западной кремлевской стены на месте оврага, по которому протекала заключенная в 1819 г. в трубу речка Неглинка. Кремлевский сад был торжественно открыт в 1822 г., 30 августа (в день «тезоименитства» царя Александра I).

На смерть Темиры (с. 57). Впервые — «Галатея», 1829.

Табак (с. 58). Впервые — «Галатея», 1829.

Наденьке (с. 59). Впервые — альм. «Эхо». М., 1830.

Казак (с. 61). Впервые — «Нива», 1915. *Черные горы* — цепь гор в Чечне и Дагестане, тянущаяся вдоль Главного Кавказского хребта. Название происходит от густых лесов, покрывающих горы и придающих им темный цвет. *Трам абазинский* — верховая лошадь абхазской (абазинской) породы конного завода Трама. *Кинжал Базалая, булат Атаги* — вооружение горцев, названное по имени оружейного мастера Базалая и селению Атага, известному выделкой ша-

шек. *Труд Царяграда* — ружья и пистолеты турецкой работы, которыми были вооружены горцы и которые в качестве трофеев попадали к казакам.

Черная коса (с. 63). Впервые — изд. 1832 г. Стихотворение написано вскоре после штурма селения Чир-Юрт (19 октября 1831 г.). Это стихотворение Полежаева было положено на музыку неизвестным композитором и как старая боевая песня кавказских солдат «Там, где свистящие картечи» бытовала долгое время на Кавказе (см. Сборник кавказских военных песен. Собрал М. П. Колотилин. Тифлис, 1907, № 9). Известно свидетельство мемуариста о популярности романса на слова Полежаева в 50-е годы. Тот же мемуарист сохранил предание о том, по какому поводу написано это стихотворение: «...когда взяли Чир-Юрт, Полежаев, ходя по грудам тел и развалинам, увидел убитую мусульманку, девушку несравненной красоты, у которой была перерублена коса, так что едва держалась на нескольких волосках. Полежаев, будучи поражен смертью несчастной красавицы, бережно перерезал волосы, отделил от головы косу и спрятал ее под мундир, у своего поэтического сердца, на память» (изд. 1955 г., с. 428).

Песни

I. **«Зачем задумчивых очей...»** (с. 64). Впервые — альм. «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», ч. I. М., 1831. Положено на музыку для фортепьяно Ив. Рупини под названием «Каватина». Известно также переложение на музыку этого стихотворения П. Сокальским.

II. **«У меня ль, молодца...»** (с. 65). Впервые — изд. 1832 г. Положено на музыку П. Сокальским и В. Соколовым.

III. **«Там, на небе высоко...»** (с. 65). Впервые — изд. 1832 г.

Песнь погибающего пловца (с. 68). Впервые — изд. 1832 г., одновременно в «Сыне отечества и северном архиве», 1832.

Звезда (с. 72). Впервые — изд. 1832 г.

Букет (с. 73). Впервые — изд. 1832 г.

К друзьям (с. 74). Впервые — изд. 1832 г. *Я пережил мои желанья* — из элегии Пушкина, 1821 г., начинающейся этой строкой (у Пушкина вместо «мои» — «свои» желанья). *Минувших дней очарованья* — стих из «Песни» Жуковского (1818). *Люблю я бешеную младость* — цитата из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXX).

Море (с. 77). Впервые — «Телескоп», 1832.

Водопад (с. 9). Впервые — изд. 1832 г.

Романсы

I. **«Пышно льется светлый Терек...»** (с. 80). Впервые — изд. 1832 г., стихотворение имеет название «Терек».

II. **«Утро жизнью благодатной...»** (с. 81). Впервые — изд. 1832 г.

III. **«Одел станицу мрак глубокий...»** (с. 82). Впервые — изд. 1832 г.

Мертвая голова (с. 83). Впервые — изд. 1832 г.

«Бесценный друг счастливых дней...» (с. 85). Впервые — изд. 1832 г. Стихотворение обращено к А. П. Лозовскому.

Федору Алексеевичу Кони (с. 87). Впервые — «Литературное наследство», № 60, кн. I М., 1956. Автограф этого стихотворения обнаружен и опубликован В. И. Безъязычным. *Кони Федор Алексеевич* (1809—1879) — известный русский драматург-водевилист, журналист и театральный критик. Около 1825 г. познакомился с Полежаевым, с которым встречался по возвращении поэта с Кавказа и имел многих общих друзей и знакомых из числа воспитанников Московского университетского Благородного пансиона, московских интеллигентов-разночинцев из театральных и литературных кругов.

Цыганка (с. 89). Впервые — сб. «Кальян». Называя цыганку «фараонкой» и употребляя связанное с ней выражение «африканские цветы», Полежаев разделяет популярное в то время неверное представление о происхождении цыган от древних египтян. Поэтическим откликом на это стихотворение явилось стихотворение Л. Мея «Полежаевской фараонке» (1859).

Раскаяние (с. 91). Впервые — сб. «Кальян». Стихотворение отражает сложные психологические переживания поэта, которые, однако, не поддаются комментированию из-за отсутствия биографических данных.

Ахалук (с. 93). Впервые — сб. «Кальян». *Ахалук* (архалук) — мужская верхняя одежда в виде короткого кафтана. *Атагинка* — жительница чеченского села Атага. *Уздени* — свободное военное сословие у кавказских горцев. *Могол* — Великий Могол, титул верховного властителя Ост-Индской империи, уничтоженный в 1806 г. *База* — чеченское женское имя.

Степь (с. 95). Впервые — сб. «Кальян».

Окно (с. 97). Впервые — сб. «Кальян».

Песнь горского ополчения (с. 99). Впервые — сб. «Кальян».

Имениннику (с. 100). Впервые — «Развлечение», 1869, где опубликованы первые десять строк под заголовком «А.П.Л.....у» (т. е. Лозовскому). Впервые в полном виде — «Русский архив», 1881. Авторская пометка («На Лубянке, дом Лухманова. 30 августа 1833 г.») вызвала изыскания, которые позволили установить, что А. П. Лозовский в этом доме не проживал. Однако среди жильцов этого дома в 1833 г. был Александр Иванович Виллуан (1807—1876) — пианист

и композитор, учитель братьев Рубинштейнов. Известно, что Виллуан писал музыку на слова некоторых стихотворений Полежаева. Сопоставление этих фактов позволяет предполагать возможность знакомства Полежаева с Виллуаном, в окружении семьи которого и могло быть написано это стихотворение.

Духа зла (с. 102). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, под заглавием «Духи зла» и в том же году — в сб. «Арфа», под названием «Божий суд». Копия, переписанная рукой Е. И. Бибиковой для отправления Бенкендорфу, находится при архивном деле «О монаршем воззрении на участь унтер-офицера Тарутинского егерского полка Полежаева».

«Судьба меня в младенчестве убила!..» (с. 104). Впервые — «Русский архив», 1882. Стихотворение представляет собой надпись Полежаева к своему портрету, нарисованному Е. И. Бибиковой в Ильинском в июле 1834 г. Подлинный портрет (акварель), с которого воспроизведена гравюра в изд. 1889 г. и который стал самым популярным портретом Полежаева, опубликован впервые в «Литературном наследстве», № 60, кн. I. М., 1956, и прилагается к настоящему изданию.

К Е..... И..... Б......й (с. 105). Впервые — сб. «Арфа».

«Зачем хотите вы лишить...» (с. 107). Впервые — «Русский архив», 1882. Стихотворение написано по поводу попытки Бибиковых оказать Полежаеву денежную помощь. В денежных делах поэт был, по свидетельству современников, до крайности щепетилен.

Негодование (с. 108). Впервые — сб. «Арфа». Стихотворение входило в состав задержанного и изуродованного цензурой сборника «Разбитая арфа», лишь в 1838 г. вышедшего под названием «Арфа». В рукописи «Последних стихотворений А. Полежаева», доставленной 28 января 1838 г. в Московский цензурный комитет А. П. Лозовским и к печати не разрешенной, стихотворение называется «Дума» и является укороченной, может быть, более ранней редакцией.

Баю-баюшки-баю (с. 110). Впервые — сб. «Арфа».

Сарафанчик (с. 112). Впервые — сб. «Арфа». Положено на музыку А. А. Алябьевым и А. Г. Гурилевым, переложено для фортепьяно и гитары.

Отчаяние (с. 113). Впервые — «Телескоп», 1836. Стихотворение положено на музыку В. И. Главачем («О, дайте мне кинжал и яд...»).

Русские песни

I. **«Разлюби меня, покинь меня...»** (с. 114). Впервые — «Телескоп», 1836. В годы смерти Полежаева (1838) это стихотворение было положено на музыку А. Е. Варламовым (сообщено В. И. Безъязычным).

II. **«Долго ль будет вам без умолку идти...»** (с. 115). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838.

Красное яйцо (с. 116). Впервые — «Развлечение», 1860. Название стихотворения связано с христианским обычаем дарить красные (крашеные) яйца. Кроме того, существовал старый русский обычай дарить арестантам на пасху красные яйца. Стихотворение содержит воспоминания поэта о трагических днях заключения в каземате Спасских казарм в 1828 г., где Полежаев познакомился с Лозовским. Можно предполагать, что, служа в штате Московского комитета общественного призрения, именно Лозовский принес судебное решение, освободившее поэта от прогнания сквозь строй, равного смертной казни.

Он и она (с. 119). Впервые — «Нива», 1914

Картина (с. 120). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Тюрьма (с. 122). Впервые — «Отечественные записки», 1840, под заглавием «Узник».

Осужденный (с. 124). Впервые — изд. 1857 г.

Из VIII главы Иоанна (с. 127). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, где стихотворение имеет заглавие «Грешница».

Глаза (с. 129). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Грусть (с. 131). Впервые — сб. «Арфа». Одновременно — в «Московском наблюдателе», 1838. Положено на музыку А. В. Варламовым.

Эндимион (с. 133). Впервые — сб. «Часы выздоровления». *Эндимион* — в античной мифологии прекрасный юноша, пастух, сын Зевса, пожелавший погрузиться в вечный сон ради сохранения своей красоты.

Венок на гроб Пушкина (с. 135). Впервые — сб. «Часы выздоровления», где текст стихотворения был сильно искажен цензурой. В более полном виде — «Русская старина», 1916. Стихотворение завершается катреном «Утешение», принадлежность которого Полежаеву в течение долгого времени считалась сомнительной. Возможно, Полежаев оказался в числе лиц, поверивших в легенду о «милости» царя по отношению к Пушкину, легенду, которая после смерти поэта усиленно распространялась представителями правительственных кругов. Вероятнее, однако, что «Утешение» — подачка цензуре, рассчитанная на то, чтобы облегчить выход в свет сборника «Часы выздоровления», который цензура признала незаслуживающим одобрения к печати «по господствующему в нем духу и направлению». *Неведомый поэт, но юный, славы жадный* — М. Ю. Лермонтов, стихотворение которого «Смерть поэта» получило большое распростра-

нение и с одним из списков которого, как следует полагать, был знаком Полежаев (см. В. Баранов. Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта».— «Литературное наследство», № 58. М., 1952, с. 485—487).

<**Отрывок из письма к А. П. Лозовскому**> (с. 144). Впервые — в изд. 1857 г. В изд. 1857 г. стихотворение имеет примечание: «Пьеса эта написана за несколько дней до смерти». А. П. Лозовским указана более точная дата — «за месяц до смерти», на основании чего стихотворение датируется декабрем 1837 г.

К моему гению (с. 146). Впервые — «Галатея». 1839.

Тоска (с. 148). Впервые — изд. 1857 г. Последние строки неизвестны.

Эрпели (с. 149). Впервые — сб. «Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева. Москва. В типографии Лазаревых Института восточных языков. 1832». *Эрпели* — селение в нагорном Дагестане, на р. Кой-су. *Грозная* — русская крепость на р. Сунже, заложенная в 1818 г. А. П. Ермоловым, административный и стратегический центр левого фланга Кавказской линии. *«Вот булки, булки, господа!»* — в форштадтах (солдатских слободках) крепости Грозной, как и других кавказских укреплений, жили отставные солдаты, семьи которых занимались мелочной торговлей среди проходящих войск. *Розен* Роман Федорович, барон — командир 14-й дивизии, в которую входили Московский, Бутырский, Тарутинский и Бородинский пехотные полки, 27-й и 28-й егерские и две роты пешей артиллерии. *Егеря* — солдаты легкой пехоты, широко применявшейся в условиях Кавказской горно-лесной войны. *«Они привыкли землемерить Одну дорогу в Старый Юрт...»* — Полежаев иронизирует над отставными егерями, которые наведывались к своим бывшим однополчанам. *Беллона* — в античной мифологии богиня войны. *И без запрету тишина.*— По свидетельству современников, на Кавказе в походе солдат должен был показывать себя веселым, петь песни, молчание рассматривалось как признак дурного настроения или недовольства. Поэтому «без запрету тишина» — отсутствие обычной опеки над солдатом. *Аманаты* — заложники. *Сорочины* — обычай поминания человека на сороковой день после его смерти.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПОЛЕЖАЕВА[1]

1804 или 1805

В одном из сел, принадлежащих семейству Струйских (Инсаровского или Саранского уезда), Пензенской губернии, у дворовой помещика Л. Н. Струйского Аграфены Ивановой родился сын Александр — будущий поэт.

1805, январь

Аграфена Иванова, отпущенная Струйским на волю, выдана замуж за «саранского купецкого сына Ивана Ивановича сына Полежаева».

1804—1809

Александр Полежаев проживает с матерью и отчимом (пропавшим без вести в декабре 1808 года) в г. Саранске.

1810

Мать Полежаева с сыном Александром и его сводным братом Константином (1808—1817) переезжает в село Покрышкино, где проживает в семье своей сестры, бывшей замужем за дворовым Струйских Я. Андреяновым, первым учителем Александра.

1810, 16 июня

Смерть матери Полежаева. Дети Полежаевы отданы в опеку Андреянову и его жене.

1816, август

Л. Н. Струйский отвозит Александра в Москву и помещает в пансион. По возвращении Струйский зверски убил своего дворового, за что был лишен чинов и дворянства и сослан на поселение в Сибирь, где умер в 1823 году.

[1] Составитель В И. Безъязычный. Даются по изданию: А. И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. Л., Сов. писатель, 1957.

1820, 24 сентября

Полежаев подает прошение о зачислении вольным слушателем словесного отделения Московского университета.

1820, октябрь

После успешной сдачи экзаменов профессорам Черепанову и Перелогову и адъюнкту Снегиреву Полежаев принят в университет и начал слушание лекций по философии, всеобщей истории и географии, хронологии, генеалогии и нумизматике.

1821, 17 августа

Полежаев начал слушать лекции профессора Мерзлякова по курсу красноречия и поэзии российской.

1821, сентябрь — ноябрь

Полежаев начал слушание лекций профессора Каченовского, Гаврилова, Ульрихса и др.

1822, 18 сентября

Полежаев начал слушание лекций профессора Давыдова по латинской словесности и древностям римским.

1823—1824, сентябрь — март

Полежаев проживает в «пансионе для недостаточных» при университете, где одновременно с ним проживает некоторое время Святослав Раевский — родственник и близкий друг М. Ю. Лермонтова, а также будущий артист Малого и Александринского театров Афанасьев.

1824, май

Поездка Полежаева в Петербург к дяде А. Н. Струйскому.

1825, февраль — июнь

Полежаев пишет поэму «Сашка», непосредственным поводом к созданию которой послужил выход первой главы «Евгения Онегина» Пушкина.

1825, декабрь

В № 23 и 24 журнала «Вестник Европы» опубликованы произведения Полежаева: «Непостоянство» и «Морни и тень Кормала» (из Оссиана). Выход в свет альманаха М. Погодина «Урания», в котором напечатан перевод Полежаева «Человек. К Байрону (из Ламартина)».

1826, 12 января

Полежаев читает на торжественном университетском акте свою оду «Восторг, восторг, питомцы муз...», написанную по поручению университетского начальства.

1826, 19 февраля

На 77-м заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете читано и одобрено для печати произведение Полежаева — перевод поэмы Байрона «Оскар Альвский». Полежаев принят в члены — сотрудники общества.

1826, 26 июня

В собрании отделения словесных наук Московского университета Александр Полежаев, в числе других студентов и вольных слушателей, окончивших курс, проходил экзамены «во всех науках, к отделению относящихся». По решению собрания Полежаев, «при похвальном поведении оказавший отличные успехи», признан заслуживающим ходатайства университетского совета перед Сенатом об исключении его из мещанского сословия и присвоения звания действительного студента.

1826, 20 июля

Донос И. П. Бибикова «О Московском университете». Донос доводят до сведения Николая I, прибывшего на коронацию в Москву. Запиской на имя министра народного просвещения Шишкова царь вызывает к себе Полежаева.

1826, 28 июля

Вызов Полежаева к царю, по приказанию которого поэт читает в его присутствии поэму «Сашка». Николай I отправляет его в военную службу.

1826, 4 августа

Полежаев зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, стоявший лагерем на Хорошевском поле близ Ходынки. Позже полк был расквартирован в г. Ряжске.

1827, 9 марта

Советом Московского университета, на основании указа Сената об исключении Полежаева из податного состояния, поэту присвоено звание действительного студента.

1827, 14—20 июня

Бегство Полежаева из полка, стоявшего в деревне Низовке, Тверской губернии и уезда, с целью добраться до Петербурга и просить об освобождении от службы. Возвращение в полк. Заключение и суд.

1827, 4 сентября

По распоряжению царя Полежаев разжалован из унтер-офицеров в рядовые без выслуги.

1827, в ночь с 14 на 15 августа

В Москве арестованы братья Критские и Лушников. Начало следствия, которое установило, что Полежаев в мае или июне 1826 года читал П. Пальмину агитационную песню «Вдоль Фонтанки-реки».

1827, октябрь

В последних числах Полежаев освобожден из-под ареста. Пребывание с полком в Москве.

1828, май

Вторичный арест Полежаева за оскорбление фельдфебеля.

1828, май — декабрь

Заключение на гауптвахте Спасских казарм. Знакомство поэта с А. П. Лозовским, служившим в штате Московского приказа общественного призрения.

1828, 17 декабря

Решение по делу о Полежаеве: «Хотя за сие и надлежало бы к прогнанию сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом: прощен без наказания с переводом в Московский полк».

1829, февраль — июнь

Московский пехотный полк получил приказ о вступлении на Кавказ и после длительного похода 24 июня расположился лагерем при Минеральных Водах.

1829—1830, сентябрь — январь

Стоянка Московского пехотного полка в заштатном городе Александрове.

1830, 7 мая

Московский полк прибыл в крепость Грозную, при которой расположился лагерем. В конце мая — поход в Дагестан, отразившийся в поэме «Эрпели».

1830—1833

Участие Полежаева в многочисленных походах и сражениях на левом фланге Кавказской линии. В сражении при Автуре, Гельдигене и Кулиш-Юрте 15, 17 и 19 января 1831 года Полежаев, по отзыву генерала А. А. Вельяминова, «находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа», за что, по ходатайству Вельяминова, Полежаев был награжден унтерофицерским чином. 19 октября 1831 года Полежаев принимает участие в штурме Чир-Юрта, 23 августа 1823 года — Герменчуга, 16 октября 1832 года — Гимр.

1833, январь

Выступление Московского полка с Кавказа.

1833, апрель — август

Стоянка Московского полка в г. Коврове. Возвращение в Москву.

1833, 1 сентября

Перевод Полежаева в Тарутинский егерский полк, стоявший в г. Зарайске Рязанской губ.

1833—1834, декабрь — январь

Знакомство Полежаева с Герценом, Огаревым и поэтом и переводчиком Н. Сатиным.

1834, июнь — июль

Встреча Полежаева с Бибиковым в г. Зарайске.

1834, июль

Пребывание Полежаева в с. Ильинском, в семье Бибиковых.

1834—1835, июль — январь

Стоянка Тарутинского полка в городе Жиздре и Жиздринском уезде Калужской губернии.

1836—1837

Полежаев с частью полка несет караульную службу в Москве.

1837, 25 сентября

Полежаев, незадолго до этого подвергнутый телесному наказанию, помещен в Московский военный госпиталь.

1838, 7 января

В газете «Русский инвалид, или Военные ведомости» № 4 опубликован «высочайший» приказ от 27 декабря о производстве Полежаева из унтер-офицеров в прапорщики.

1838, 13 января

Полежаев переведен в офицерскую палату.

1838, 16 (28) января

Смерть Полежаева.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Иванович Полежаев

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор **Т. М. Мугуев**. Художественный редактор **Е. Ф. Николаева**. Технический редактор **В. А. Преображенская**. Корректор **Л. В. Конкина**.

ИБ № 1937

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Тула-У». Сдано в наб. 02.02.81. Подп. в печать 17.03.81. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. п. л. 7,7. Уч.-изд. л. 6,69. Тираж 100 000 экз. Заказ 79. Цена 70 к. Изд. инд. ЛХП-102.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

70 коп

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. ПОЛЕЖАЕВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ